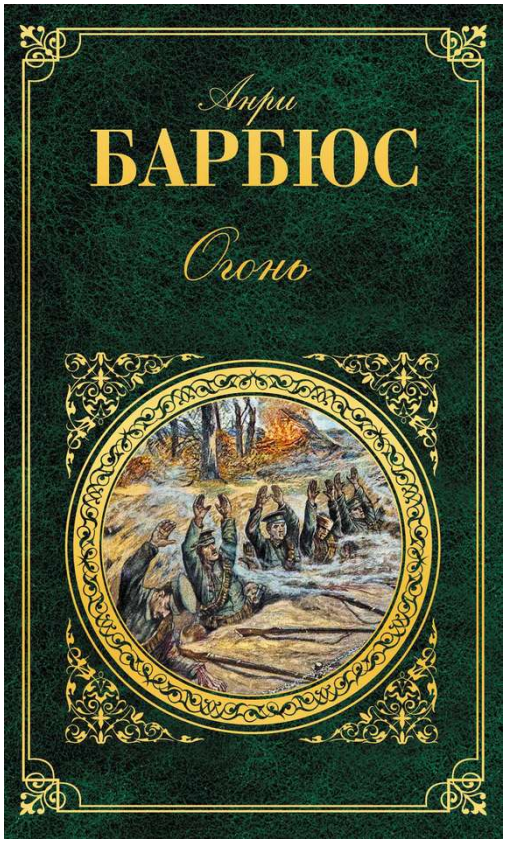
Анри
БАРБЮС
Огонь

Анри Барбюс
Надежда Михайловна Жаркова
Огонь (сборник)

Текст предоставлен издательством
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=7080110
Анри Барбюс. Огонь: Эксмо; Москва; 2014
ISBN 978-5-699-73806-9

Аннотация

Роман французского писателя, журналиста Анри Барбюса «Огонь» начат в госпитале в декабре 1915 года – Барбюс в 1914 году ушел на фронт Первой мировой войны рядовым-добровольцем – и написан на основе репортерских записей, буквально из окопов. Страшная, мрачная книга – беспощадная и натуралистичная правда об истреблении и разрушении, о перемалывании жизней – глазами очевидца.

В сборник вошли также избранные повести писателя о войне.

«Война – это не атака, похожая на парад, не сражение с развевающимися знаменами, даже не рукопашная схватка, в которой неистовствуют и кричат; война – это чудовищная, сверхъестественная усталость, вода по пояс, и грязь, и вши, и мерзость. Это заплесневелые лица, изодранные в клочья тела и трупы, всплывающие над прожорливой землей и даже не похожие больше на трупы. Да, война – это бесконечное однообразие бед, прерываемое потрясающими драмами, а не штык, сверкающий, как серебро, не петушиная песня рожка на солнце!»

Содержание

Огонь (Дневник взвода) 4
Предисловие 4
I Видение 8
II В земле 10
III Смена 32
IV Вольпат и Фуйяд 35
V Стоянка 39
VI Привычки 52
Конец ознакомительного фрагмента. 55

Огонь
Анри Барбюс

Огонь (Дневник взвода)

Предисловие

В этой книге, простой и беспощадно правдивой, рассказано о том, как люди разных наций, но одинаково разумные, истребляют друг друга, разрушают вековые плоды своего каторжного и великолепного труда, превращая в кучи мусора храмы, дворцы, дома, уничтожая дотла города, деревни, виноградники, как они испортили сотни тысяч десятин земли, прекрасно возделанной их предками и ныне надолго засоренной осколками железа и отравленной гнилым мясом безвинно убитых людей.

Занимаясь этой безумной работой самоистребления и уничтожения культуры, они, люди, способные разумно рассуждать обо всем, что раздражает их кожу и нервы, волнует их сердца и умы, молятся богу, молятся искренне и, как описывает это один из героев книги, молятся «идиотски одинаково», после чего снова начинают дикую работу самоубийства, так же «идиотски одинаково». На стр. 251[1] читатель найдет эту картину богослужения немцев и французов, одинаково искренне верующих, что в кровавом и подлом деле войны «с нами бог».

И они же затем говорят: «Богу – наплевать на нас!» И они же, герои, великомученики, братоубийцы, спрашивают друг друга:

«– Но, все-таки, как же он смеет, этот бог, позволять всем одинаково думать, что он – с ними, а не с другими?» Мысля трогательно, просто, как дети, – в общем же «идиотски одинаково», – эти люди, проливая кровь друг друга, говорят:

«– Если бы существовал бог, добрый и милосердный, – холода не было бы!»

Но, рассуждая так ясно, эти великие страстотерпцы снова идут убивать друг друга.

Зачем?

Почему?

Они и это знают, – они сами говорят о себе:

«– Ах, все мы неплохие люди, но – такие жалкие и несчастные. И при этом мы глупы, слишком глупы!»

И, сознавая это, они продолжают позорное, преступное дело разрушения.

Капрал Бертран знает больше других, он говорит языком мудреца.

«– Будущее! – воскликнул он вдруг тоном пророка. – Какими глазами станут впоследствии смотреть на наши подвиги, о которых даже мы сами, совершающие их, не знаем, следует ли сравнивать их с делами героев Плутарха и Корнеля, или же с подвигами апашей?.. И, однако, смотри! Есть же одно лицо, один образ, поднявшийся над войной, который вечно будет сверкать красотою и мужеством!

Опершись на палку, склонившись к нему, я слушал, впивая в себя эти слова, раздавшиеся в безмолвии ночи, из этих, почти всегда безмолвных уст. Ясным голосом он выкрикнул:

– Либкнехт!

И поднялся, не разжимая скрещенных рук. Его прекрасное лицо, хранившее серьезность выражения статуи, склонилось на грудь. Но вскоре он снова поднял голову и повторил:

[1] Указание на страницу дано по изданию «Огня» 1936 г./, перевод И. Е. Спивака. Цитаты приведены в том же переводе.

– Будущее! Будущее! Дело будущего – загладить это настоящее, стереть его из памяти людей, как нечто отвратительное и позорное. И, однако, это настоящее необходимо, необходимо! Позор военной славе, позор армиям, позор ремеслу солдата, превращающему людей поочередно то в безмозглые жертвы, то в подлых палачей! Да, позор! Это правда, но это – слишком правда; правда для вечности, но еще не для нас. Это будет правдой, когда ее начертают среди других истин, постичь которые мы сумеем лишь позже, когда очистится дух наш. Мы, затерянные здесь изгнанники, еще далеки от этой эпохи.

Он как-то особенно звучно рассмеялся и задумчиво продолжал:

– Как-то раз я сказал им, что верю в пророчества, только для того, чтобы приободрить их и заставить идти вперед».

Но, говоря так, спокойный, мужественный человек, уважаемый всеми людьми своего взвода, ведет их на бессмысленную бойню и умирает на грязном поле, среди гниющих трупов.

Во всем этом ярко и насмешливо горит убийственное противоречие, унижающее человека до степени безвольного инструмента, до какой-то отвратительной машины, созданной злой и темной силой на служение ее дьявольским целям.

И близки, и милы душе эти несчастные герои, но, поистине, они кажутся прокаженными, носящими в себе самих навеки непримиримое противоречие разума и воли. Кажется, что разум их уже настолько окреп и силен, что в состоянии остановить эту отвратительную бойню, прекратить мировое преступление, но… воли нет у них, и, понимая всю гадость убийства, отрицая его в душе, они все-таки идут убивать, разрушать и умирать в крови и грязи.

«– Битвы производятся нашими руками, – говорят они. – Мы служим материалом для войны. Она состоит вся только из плоти и душ простых солдат. Это мы нагромождаем трупы на равнинах и наполняем реки кровью, все мы, хотя каждый из нас невидим и молчалив, ибо слишком велико наше число. Опустевшие города, разоренные села и деревни – это пустыни, лишившиеся нас или оставшиеся после нас. Да, все это мы – и только мы!

– Война – это народы. Без них не было бы ничего, кроме разве перебранки издалека. Но войну решают не они, а те, которые правят.

– Народы борются теперь, чтобы избавиться от этих правителей.

– В таком случае выходит, что мы работаем также и для пруссаков?

– Будем надеяться, что и для них, – согласился один из страдальцев.

– Народы – это ничто, а они должны быть всем, – проговорил в этот момент человек, вопрошающе глядевший на меня; он повторил неведомую для него историческую фразу, которой уже больше века, он придал ей, наконец, ее великий, всемирный смысл.

И этот несчастный, тая на четвереньках в грязи, поднял свое лицо прокаженного и жадно заглянул вперед, в бесконечность».

Что он увидит там?

Мы верим, что он увидит своих потомков свободными, разумными и сильными волей.

Эту страшную и радостную книгу написал Анри Барбюс, человек, лично переживший весь ужас войны, все ее безумие. Это не парадная книга гениального Льва Толстого, гений которого созерцал войну в далеком прошлом; это не жалобное сочинение Берты Сутнер «Долой войну», – сочинение, написанное с добрым намерением, но не способное никого ни в чем ни убедить, ни разубедить.

Это – книга простая, исполненная пророческого гнева, это – первая книга, которая говорит о войне просто, сурово, спокойно и с необоримою силою правды. В ней нет изображений, романтизирующих войну, раскрашивающих ее грязно-кровавый ужас во все цвета радуги.

Барбюс написал будни войны, он изобразил войну как работу, тяжелую и грязную работу взаимного истребления ни в чем не повинных людей, не повинных ни в чем, кроме глупости. В его книге нет поэтических и героических раскрашенных картинок сражений, нет описаний мужества отдельных солдат, – книга Барбюса насыщена суровой поэзией правды, она изображает мужество народа, мужество сотен тысяч миллионов людей, обреченных на смерть и уничтожение великим провокатором народов – капиталом. Этот Дьявол, совершенно реальный, неутомимо действующий среди нас, это он главный герой книги Барбюса. Ослепив миллионы простаков ложным блеском идей и учений, убивающих волю, отравив их ядом жадности, зависти, своекорыстия, он согнал миллионы их на плодородные поля Франции, и там они в течение четырех лет разрушают в прах все, созданное трудом многих столетий, еще раз показывая самим себе, что злейший враг человека – его безволие и неразумие.

Барбюс глубже, чем кто-либо из писателей до него, заглянул в сущность войны и показал людям бездну их заблуждения.

Каждая страница его книги – удар железного молота правды по всей той массе лжи, лицемерия, жестокости, грязи и крови, которые в общем зовутся войной. Мрачная книга его страшна своей беспощадной правдой, но всюду во мраке изображаемого им сверкают огоньки нового сознания, – и эти огоньки, мы верим, скоро разгорятся во всемирное пламя очищения земли от грязи, крови, лжи и лицемерия, созданных Дьяволом Капитала. Люди, о которых говорит Барбюс, уже начинают смело отрицать власть бога над человеком, и это верный признак, что скоро они почувствуют, со стыдом и гневом, как преступна и отвратительна власть человека над подобным себе.

Мы живем в трагические дни, нам невыносимо тяжело, но мы живем накануне возрождения всех добрых сил человека к свободному творчеству и труду. Это – правда, и она должна утешить нас, увеличить наши силы, придать нам бодрость.

М. Горький.

Предшествующее было написано за 15 лет до наших дней, в трагический год голода, в год конца победоносной войны голодных пролетариев, рабочих и крестьян, против богато вооруженных капиталистами Европы армий русских фабрикантов и помещиков и против посланных европейскими лавочниками – в помощь своим братьям по жиру и духу – войск, среди которых был даже отряд кавалерии на ослах.

За полтора десятка лет пролетариат царской России и ее колоний непрерывным, чудотворным трудом превратил обширную безграмотную страну полунищих крестьян и полудикой жадной мелкой буржуазии – в мощный социалистический братский союз народов.

Ныне капиталисты Европы снова затевают войну, основная цель которой – нападение на Союз Социалистических Советов. Для того, чтоб начать эту войну, капиталистам необходимо единство. Наиболее наглая и очумевшая группа их предполагает достичь единства по примеру Наполеона: побить своих соседей и, схватив побежденных за шиворот, двинуть их против государства социалистического. План простой и ясный, этот план и заставил меня вспомнить об ослах.

Позорнейшая роль ослов в бойне 14-18 гг. характеризуется, как известно, поведением вождей немецкой социал-демократии, русских меньшевиков, эсеров и многих прочих вождей той мелкой буржуазии, из которой капиталисты пятнадцать лет фабрикуют фашистов.

Мне кажется, что социалистически-революционная ценность работы Барбюса и других – сродных ему по духу – литераторов особенно хорошо и ясно видна именно с этой выше намеченной точки зрения. Его книга – одна из первых, которые за пятнадцать лет отрезвили многие тысячи голов, опьяненных кровью, и антифашистское движение, все более широко растущее в наши дни, должно признать Барбюса одним из первейших своих основоположников.

М. Горький 11 сентября 1935 г.

I Видение

Памяти товарищей, павших рядом со мной под Круши на высоте 119.
А. Б.

Лицом к вершинам Дан-дю-Миди, Эгюий-Верт и Монблана, на галерее санатория, в ряд лежат люди; из-под одеял виднеются исхудалые бескровные лица; глаза лихорадочно блестят.

Эта застекленная терраса дворца-госпиталя одиноко возвышается над миром.

Красные, зеленые, коричневые, белые одеяла из тонкой шерсти не шевелятся. На шезлонгах царит молчание. Кто-то кашлянул. Изредка слышится только шелест мерно переворачиваемых страниц книги или вопрос и ответ осторожно перешептывающихся соседей, или иногда на балюстраде хлопает крыльями дерзкая ворона, которая отбилась от стай, рассыпающихся бусами черного жемчуга в прозрачном небе.

Молчание здесь – закон. К тому же эти богатые, независимые люди, съехавшиеся сюда со всех концов света, пораженные одним и тем же недугом, отвыкли говорить. Они ушли в себя и думают только о своей жизни и смерти.

На галерее появляется служанка; она вся в белом и двигается бесшумно. Она раздает газеты.

– Кончено! – говорит тот, кто первый развернул газету. – Война объявлена!

Хотя все давно готовы к этому известию, оно потрясает: ведь все чувствуют его безмерное значение.

Эти умные, образованные люди, умудренные страданием и раздумьем, отрешенные от жизни, далекие от других людей, словно уже принадлежа будущему, глядят вдаль, в непонятную страну живых и сумасшедших.

– Это преступление со стороны Австрии! – говорит австриец.

– Или Англии, – говорит англичанин.

– Надеюсь, что Германия будет побеждена, – говорит немец.

* * *

Они опять ложатся под одеяла, лицом к вершинам и небу. Но, несмотря на чистоту воздуха, тишина полна принесенной вестью.

Война!

Некоторые нарушают молчание и вполголоса повторяют это слово, размышляя о том, что наступает величайшее событие нашего времени, а может быть, и всех времен.

Эта весть вызывает в сияющей природе какой-то смутный сумрачный мираж.

Среди спокойных просторов долины, украшенной розовеющими деревьями и бархатистыми пастбищами, среди великолепных гор, под черными зубцами елей и белыми зубцами вечных снегов возникает движение толп.

Везде кишат полчища. По полям, волна за волной, они несутся в атаку и застывают; дома выпотрошены, как люди, и города – как дома; деревни предстают раздробленной белизной, словно упав с неба на землю; страшные груды мертвецов и раненых меняют вид равнин.

Каждый народ, пожираемый со всех сторон резней, беспрестанно вырывает из своих недр все новых солдат, полных сил и крови; в реку смерти вливаются живые притоки.

На севере, на юге, на западе, повсюду идут бои. Куда ни повернешься, – везде война.

Кто-то из этих бледных провидцев приподнимается на локте, называет и подсчитывает сегодняшних и грядущих участников войны: тридцать миллионов солдат. Другой, ошеломленный зрелищем войны, бормочет:

– Бьются две армии: это кончает самоубийством единая великая армия.

– Не надо бы… – глухим голосом говорит первый в ряду.

Другой возражает:

– Начинается опять Французская революция.

– Берегитесь, монархи! – шепотом возвещает третий.

– Может быть, это последняя война, – прибавляет четвертый.

Молчание. Несколько человек, еще бледные от трагедии бессонной ночи, покачивают головой.

– Прекратить войны! Да разве это мыслимо? Прекратить войны! Язва мира неисцелима!

Кто-то кашляет. И под солнцем пышных лугов, где лоснятся гладкие коровы, опять воцаряется великая тишина; черные леса, и зеленые поля, и голубые дали заслоняют видение и гасят отсвет огня, от которого загорается и рушится старый мир. В бесконечной тишине замирает гул ненависти и страдания черной вселенной. Собеседники, один за другим, опять уходят в себя, озабоченные тайной своих легких и спасением своего тела.

Но когда в долину нисходит вечер, на вершинах Монблана разражается гроза.

В такие опасные вечера выходить запрещается: даже до большой веранды – в гавань, куда укрылись больные, долетают последние волны ветра.

Пожираемые внутренней язвой, смертельно раненные люди созерцают переворот стихий; от ударов грома над горами приподнимаются тучи; бледные, изможденные зрители следят за орлами, кружащими в небе и взирающими на землю сквозь клубы туманов.

– Прекратить войны! Прекратить грозу!

Но, достигнув грани живого мира, освободившись от страстей и пристрастий, от приобретенных понятий, от власти традиций, прозрев, умирающие сознают простоту бытия и видят великие возможности.

Последний в ряду восклицает:

– Внизу что-то ползет!

– Да… что-то живое.

– Как будто растения…

– Как будто люди.

И вот в зловещих отсветах грозы, под черными взлохмаченными тучами, тяжело нависшими над землей, как злые ангелы, – открывается какая-то широкая лиловая равнина. Из недр этой равнины, затопленной грязью и водой, выходят призраки; они цепляются за поверхность почвы, они обезображены, как чудовищные утопленники. Чудится, что это солдаты. Изрезанная длинными параллельными каналами, истекающая потоками, изрытая ямами, полными воды, равнина непомерна, и погибающим нет числа…

Но тридцать миллионов рабов, преступно брошенных друг на друга в войну, в эту грязь, поднимают головы, и на их человеческих лицах наконец появляется выражение воли. В руках этих рабов будущее, и ясно, что старый мир обновится только благодаря союзу, который когда-нибудь заключат те, чье число и страдания бесконечны.

II В земле

Большое бледное небо переполнено раскатами грома: при каждом взрыве, от ударов рыжей молнии, одновременно взвивается огненный столп в уходящую ночь и дымный столп в бледный рассвет.

Там, высоко-высоко, далеко-далеко, кольцом взлетает стая страшных, мощно, прерывисто дышащих птиц; они глядят на землю; их слышно, но не видно.

Земля! При свете медлительной, безысходной зари открывается огромная, залитая водой пустыня. В лужах и воронках вода вздрагивает от острого предутреннего холодка; на этих полях бесплодия, изрезанных колеями, в скудном мерцании поблескивают, как стальные рельсы, следы, оставленные войсками и ночными обозами; из грязи торчат сломанные колья, вывихнутые рогатки, перекрещенные наподобие буквы Х; спутанные, скрученные мотки, целые заросли проволоки. Везде илистые отмели и лужи; словно непомерная, серая, кое-где затонувшая холстина колышется на море. Дождь перестал, но все мокро, влажно, вымыто, вымокло, затоплено, и даже белесый свет как будто течет.

Обозначаются длинные извилистые рвы, где сгущается осадок ночи. Это – окопы. Дно устлано слоем грязи, от которой при каждом движении приходится с хлюпаньем отдирать ноги; вокруг каждого убежища скверно пахнет мочой. Если наклониться к боковым норам, они тоже смердят, как зловонные рты.

Из этих горизонтальных колодцев вылезают тени; движутся чудовищными бесформенными громадами, словно какие-то медведи топчутся и рычат. Это – мы.

Мы закутаны, как жители арктических стран. Шерсть, брезент, одеяла обволакивают нас, странно округляют, торчат и высятся над нами. Кое-кто потягивается, зевает во весь рот. Различаешь лица, красные или лиловатые, испещренные грязью, заросшие нестриженными бородами, запачканные небритой щетиной; словно светом ночников, они чуть озарены слипшимися, заспанными глазами.

Трах! Тах! Тах! Ббац! Ружейные выстрелы, канонада. Над нами везде треск или грохот – продолжительные раскаты или отдельные удары. Черная огненная гроза не стихает никогда, никогда. Уже больше пятнадцати месяцев, уже пятьсот дней в этом уголке мира перестрелка и бомбардировка не прекращаются с утра до вечера и с вечера до утра. Мы погребены в недрах поля вечной битвы; но словно тиканье домашних часов в былые времена – в почти легендарном прошлом – этот грохот слышишь, только когда прислушаешься.

Из-под земли показывается пухлая детская мордочка с воспаленными веками, с такими красными скулами, точно на них наклеили ромбы из красной бумаги; открывается один глаз, оба глаза: это – Паради. Его щеки испещрены полосами: это отпечатались складки парусины, под которой он спал, укрывшись с головой.

Он обводит нас взглядом своих маленьких глазок, замечает меня, кивает головой и говорит:

– Ну вот, прошла еще одна ночь!

– Да, а сколько нам еще предстоит таких ночей?

Он воздевает к небу пухлые руки. С трудом он извлек себя из землянки, и вот он уже рядом со мной. Он споткнулся о какую-то кучу; она оказалась человеком, который сидит в полутьме на земле, остервенело чешется и тяжело вздыхает. Паради уходит, шлепая по лужам, ковыляя, как пингвин, среди потопа.

* * *

Мало-помалу из недр земли вылезают люди. В углах сгущается тень; эти человеческие тучи приходят в движение, дробятся… Их узнаешь всех, одного за другим.

Вот появляется человек; голова у него закутана в одеяло, словно в капюшон. Дикарь, или, верней, палатка дикаря! Раскачивается справа налево и перемещается. Вблизи, в плотной оправе вязаной шерсти, можно различить квадратное желтое, йодистое лицо в черноватых пятнах: переломанный нос, раскосые китайские глаза и жесткие мокрые усы, похожие на щетку.

– А-а, вот Вольпат! Как дела, Фирмен?

– Дела, дела, как сажа бела! – отвечает Вольпат.

Он говорит с трудом, протяжно, хриплым голосом. Кашляет.

– На этот раз мне каюк. Слышал ночью атаку? Ну и зажаривали они! Основательная поливка!

Он сопит и вытирает рукавом вогнутый нос. Запускает руку за пазуху под шинель и куртку, нащупывает тело и начинает чесаться.

– На свечке я сжег штук тридцать «блондинок», – ворчит он. – В большой землянке, у подземного прохода, их тьма-тьмущая, прямо кишмя кишат! Я видел, как они шныряют по соломе, вот как я сейчас вижу тебя.

– А кто ходил в атаку? Боши?

– Боши, и мы тоже. Это было у Вими. Контратака. Ты не слыхал?

– Нет, – отвечает за меня толстяк Ламюз, человек-бык. – Я храпел вовсю. Ведь прошлой ночью я был на работах.

– А я слыхал, – объявляет маленький бретонец Бике. – Я плохо спал; вернее, совсем не спал. У меня своя собственная землянка. Да вот, поглядите, вот она, паскуда!

Он показывает на ямку у самой поверхности земли; здесь на кучке навоза только-только может улечься один человек!

– Ну и никудышная квартира! – восклицает он, покачивая маленькой, словно недоделанной головой, – я почти и не дрых; уже засыпал, да помешали… проснулся… Не от шума, а от запаха. Сменяли 129-й полк. Да-а, все эти парни шагали у самой моей морды. Я и проснулся: так ударило в нос.

Мне это знакомо. Я часто просыпался в окопах от густой вони, которая тянется за проходящим отрядом.

– Эх, кабы это убивало вшей! – говорит Тирет.

– Наоборот, это их подзадоривает, – замечает Ламюз. – Чем больше смердишь, тем больше их у тебя заводится.

– И хорошо еще, – продолжает Бике, – что они меня разбудили своей вонью! Вот я сейчас рассказывал этому толстобрюхому: продрал глаза как раз вовремя: успел схватить свой брезент (я им закрываю мою дыру); какой-то сукин сын уже собирался его спереть.

– В 129-м полку все как есть сволочи!

В глубине, у наших ног, сидит на корточках человек, при утреннем свете его трудно разглядеть; он обеими руками хватается за свои одеяния, скребется и чешется. Это дядюшка Блер.

Он мигает узкими глазками; его лицо покрыто слоем пыли. Над беззубым ртом торчат толстыми желтоватыми комками усы. Руки чудовищно черны; они так грязны, словно обросли волосами, а ладони покрыты жесткой серой корой. От этой скрюченной фигуры пахнет старой кастрюлей.

Он усердно чешется и в то же время болтает с долговязым Барком, который стоит в стороне и наклонился к нему.

– Дома я не такой грязный и черный, – говорит Блер.

– Н-да, бедняга, дома ты, наверно, белей! – замечает Барк.

– Твое счастье, – подзадоривает Тирет, – а то бы ты сделал своей женке негритят!

Блер сердится. Хмурит брови (его лоб совсем черный от грязи).

– Чего ты лезешь? А хотя б и так? На то и война. А ты, чучело гороховое, ты думаешь, на войне у тебя не изменился фасад и повадки? Да погляди на себя, обезьянья харя, погань неумытая! Эка, понес околесицу! Бывают же такие дурни!

Он проводит рукой по темной коре, покрывающей его лицо; после стольких дождей она оказалась несмываемой.

– Да и если я такой, каков я есть, значит, я так хочу. Прежде всего, у меня нет зубов. Лекарь уже давно сказал мне: «У тебя больше нет ни одного зуба. Этого слишком мало. На первой же остановке ступай, говорит, в остаматологический кабинет».

– Томатологический, – поправляет Парк.

– Стоматологический, – устанавливает Бертран.

– А я не пошел: не хотел, – продолжает Блер, – хоть лечат и задаром.

– Почему же не пошел?

– Да так, неохота возиться, – отвечает он.

– Ты сущий повар, – говорит Барк. – Тебе бы надо заделаться поваром.

– Я сам так думаю, – простодушно соглашается Блер.

Все смеются. Черный человек обижен. Он встает.

– У меня от вас брюхо заболело, – презрительно отчеканивает он. – Пойду в нужник.

Когда его черный силуэт исчезает, собеседники лишний раз повторяют старую истину, что на фронте грязнее всех повара.

– Если увидишь чумазого парня с грязным рылом и в грязной одежде, такого, что прикоснуться к нему можно только щипцами, так и знай: наверняка повар! И чем грязней, тем он верней повар.

– Истинно верно! – подтверждает Мартро.

– А-а, вот Тирлуар! Эй, Тирлуар!

Тирлуар подходит, озабоченный, поглядывая туда-сюда; он бледен, как хлор; худая шея пляшет в слишком широком и жестком воротнике шинели. У него острый подбородок; верхние зубы торчат; резкие морщины с глубоко забившейся в них грязью у рта кажутся намордником. По обыкновению он взбешен и, как всегда, бранится:

– У меня ночью свистнули сумку!

– Это 129-й полк. А где ты ее держал?

Он показывает на штык, воткнутый в стенку, у входа в прикрытие.

– Здесь. Она висела вот на этой зубочистке.

– Растяпа! – хором восклицают собеседники. – Сам людям подставил! Да ты что, рехнулся?

– Экая досада! – стонет Тирлуар.

Вдруг его охватывает гнев: его лицо передергивается, кулаки сжимаются, словно узлы веревки. Он ими потрясает.

– Эх, попадись мне этот стервец! Да я бы ему морду разбил, выпотрошил бы ему брюхо, да я бы… Ведь у меня в сумке лежал непочатый кусок сыру. Пойти еще поискать, что ли!

Он растирает себе живот кулаком, короткими взмахами, словно ударяя по струнам; он держится с чувством собственного достоинства; его лицо искажается гневом; похожий на больного, закутанного в халат, он уходит в утреннюю мглу. Его ругань доносится даже издали; наконец он исчезает.

– Вот балда! – говорит кто-то.

Все хихикают.

– Он свихнулся и спятил, – объявляет Мартро, по обыкновению усиливая мысль сочетанием двух однозначащих слов.

* * *

– Эй, братишка, погляди, – говорит явившийся Тюлак, – погляди-ка!

Тюлак великолепен. На нем казакин лимонно-желтого цвета, сшитый из непромокаемого спального мешка. Тюлак проделал в нем дыру для головы и поверх этого футляра надел ремни и пояс. Он рослый, костлявый, решительный. На ходу он вытягивает шею и косит. Он что-то держит в руке.

– Я это нашел сегодня, когда копал ночью землю в конце Нового хода: мы меняли прогнивший настил. Эта штуковина мне сразу понравилась. Это топор старинного образца.

Действительно, «топор старинного образца»: заостренный камень с рукояткой из побуревшей кости. Настоящее доисторическое орудие.

– Его удобно держать, – говорит Тюлак, помахивая своей находкой. – Да, недурно придумано. Лучше сделано, чем наши топорики военного образца. Словом, сногсшибательно! На, погляди-ка!.. А-а? Отдай. Он мне пригодится. Увидишь…

Он потрясает этим топором четвертичного периода и сам кажется питекантропом[2], наряженным в лохмотья, укрывшимся в недрах земли.

* * *

Один за другим подходят солдаты из отделения Бертрана и собираются у поворота траншеи. В этом месте она немного шире, чем в той части, где тянется ровно: там, чтобы разминуться, надо прижаться к грязной стенке и упереться животом в живот товарища.

Наша рота в резерве; она занимает окопы второй линии. Здесь нет сторожевой службы. Ночью нас посылают вперед на земляные работы, но пока светло, нам нечего делать. Нас свалили в одну кучу; мы словно прикованы локоть к локтю; нам остается только как-нибудь убить время до вечера.

Дневной свет, наконец, пробился в бесконечные трещины, избороздившие эту местность; он добирается до наших нор. Печальный свет севера! Здесь даже небо тесное и грязное, словно отягченное дымом и смрадом заводов. При этом тусклом освещении разнородные наряды жителей нашего дна предстают во всем своем убожестве среди огромной безысходной нищеты, породившей их. Но ведь здесь ружейные выстрелы кажутся однообразным тиканьем часов, а пушечные залпы – урчанием кота; ведь великая драма, которую мы разыгрываем, тянется слишком долго, и больше не удивляешься своему виду и наряду, придуманному нами для защиты от дождя, льющегося сверху, от грязи, проникающей снизу, от бесконечного холода, пребывающего всюду.

Звериные шкуры, одеяла, парусина, вязаные шлемы, суконные и меховые шапки, шарфы, накрученные на шею или повязанные, как чалмы; фуфайки и сверхфуфайки, сверходеяния и кровли из клеенчатых, просмоленных, прорезиненных капюшонов, черных или всех (полинявших) цветов радуги, покрывают этих людей, скрывают форменную одежду почти так же, как кожу, и расширяют тело и головы до огромных размеров. Один напялил на спину квадратную клеенку с большими белыми и красными клетками, найденную где-

[2] Доисторическое человекообразное существо.

то на стоянке в столовой, – это Пепен; его узнаешь уже издали скорей по этой арлекиновой вывеске, чем по его бледному бандитскому лицу. Вот оттопыривается манишка Барка, вырезанная из стеганого одеяла, когда-то розового, а теперь бурого от пыли и дождя. Вот огромный Ламюз – разрушенная башня с остатками афиш. Вот маленький Эдор: кираса из чертовой кожи придает ему вид жесткокрылого насекомого с глянцевитой спинкой; и среди них всех, как Великий вождь, блистает оранжевым нагрудником Тюлак.

Каска придает некоторое разнообразие головам всех этих людей. Да и то! Одни надевают ее на кепи, как Бике; другие – на вязаный шлем, как Кадийяк, третьи – на шапку, как Барк, – и это усложняет наряд и создает разнообразие.

А наши ноги!.. Только что, согнувшись в три погибели, я спустился в нашу землянку – низкий тесный погреб, отдающий сыростью и плесенью; здесь натыкаешься на пустые банки из-под консервов и грязные тряпки; здесь валялись два длинных спящих свертка, а в углу, при свете огарка, какая-то тень, стоя на коленях, рылась в сумке… Вылезая через прямоугольное отверстие, я увидел ноги. Они торчали отовсюду, горизонтально, вертикально или наклонно, вытянутые, согнутые, сплетенные, они мешали пройти; все их проклинали; это была многообразная и многоцветная коллекция: гетры и краги, черные и желтые, высокие и низкие, из кожи, из плотной парусины, из какой-то непромокаемой ткани; обмотки – синие, голубые, черные, серые, цвета хаки, коричневые… Один только Вольпат все еще носит короткие краги времен мобилизации; Мениль Андрэ уже две недели щеголяет в чулках из грубой зеленой шерсти. А Тирета всегда узнаешь по серым в белую полоску суконным обмоткам, вырезанным из штатских брюк, висевших черт знает где в начале войны… У Мартро обмотки разного цвета: ему не удалось найти два одинаковых изношенных и грязных куска шинели, чтобы разрезать их на полосы. У некоторых солдат ноги обернуты в тряпки, даже в газеты, обмотаны спиралями веревок или даже телефонными проводами (это практичней). Пепен ослепляет товарищей и прохожих рыжими крагами, которые он снял с мертвеца. Барк считает себя (ну и надоедает же он иногда!) изворотливым парнем, мастером на выдумки: он обмотал гетры марлей; эти белые икры, вязаная шапка, белеющая из-под каски, и клок рыжих волос на лбу придают ему клоунский вид. Потерло вот уже месяц ходит в сапогах немецкого солдата, в отличных почти новых сапогах, подбитых подковками. Их дал ему на хранение Карон, когда был ранен в руку и эвакуирован. А сам Карон снял их с баварского пулеметчика, убитого на Пилоиской дороге. Помню, как наш Карон рассказывал об этом:

– Да, милый мой, лежит парень задом в яме, весь согнулся, глазеет в небо, а ноги задрал вверх. Как будто подставляет мне свои сапожки и хочет сказать: «Бери, пожалуйста!» – «Что ж, ладно!» – говорю. Зато сколько хлопот было стащить с него эти чоботы; и повозился же я! Добрых полчаса пришлось тянуть, поворачивать, дергать, накажи меня бог: ведь парень мне не помогал, лапы у него не сгибались. Ну, я столько тянул, что в конце концов ноги от мертвого тела отклеились в коленях, штаны порвались и – трах! – в каждой руке у меня по сапогу, полному каши. Пришлось опорожнить их, выбросить из них ноги.

– Ну, брат, врешь!

– Спроси у самокатчика Этерпа! Он мне помогал: мы запускали руки в сапог и вытаскивали оттуда кости, куски мяса и носков. Зато какие сапоги! Гляди! Стоило потрудиться!

… И вот, пока не вернется Карон, Потерло вместо него носит сапоги, которые не успел износить баварский пулеметчик.

Так по мере сил, разумения, энергии, возможности и смелости каждый изворачивается, стараясь бороться с чудовищными неудобствами. Каждый показывает себя и словно говорит: «Вот все, что я сумел, смог, посмел сделать в страшной беде, в которую попал».

Мениль Жозеф дремлет, Блер зевает. Мартро уставился в одну точку и курит. Ламюз чешется, как горилла, а Эдор – как мартышка. Вольпат кашляет и ворчит: «Я подохну». Мениль Андрэ вынул зеркальце и гребенку и холит свою шикарную каштановую бороду, словно редкостное растение. Однообразная тишина то тут, то там прерывается приступами неистового волнения, вызываемого повсеместным, неизбежным, заразительным присутствием паразитов.

Барк – парень наблюдательный; он обводит всех взглядом, вынимает изо рта трубку, плюет, подмигивает и говорит:

– Ну и не похожи мы друг на друга!

– А с чего нам быть похожими? – отвечает Ламюз. – Это было бы чудом.

* * *

Наш возраст? Мы все разного возраста. Наш полк – резервный; его последовательно пополняли подкрепления, – то кадровые части, то ополченцы. В нашем полувзводе есть запасные из ополчения, новобранцы и солдаты среднего возраста. Фуйяду сорок лет. Блер мог бы быть отцом Бике, новичка призыва 13-го года. Капрал называет Мартро «дедушкой» или «старым отбросом», смотря по тому, шутит он или говорит серьезно. Мениль Жозеф, если бы не война, остался бы в казарме. Забавное зрелище, когда нас ведет сержант Вижиль, славный мальчуган с пушком над губой; на днях, на стоянке, он прыгал через веревочку с ребятами. В нашей разношерстной компании, в этой семье без семьи, у очага без очага, объединены три поколения; они живут, ждут, цепенеют, словно бесформенные истуканы, словно дорожные столбы.

Откуда мы? Из разных областей. Мы явились отовсюду. Я смотрю на соседей: вот Потерло, углекоп из шахты Калоин: он розовый; брови у него соломенно-желтые, глаза васильковые; для его крупной золотистой головы пришлось долго искать на складах эту каску, похожую на огромную синюю миску; вот Фуйяд, лодочник из Сетта; он бешено вращает глазами; у него длинное худое лицо, как у мушкетера, и впалые щеки. Действительно, они не похожи друг на друга, как день и ночь.

Кокон, тощий, поджарый, в очках, с лицом, изъеденным испарениями больших городов, тоже резко отличается от Бике, неотесанного серого бретонца с квадратной челюстью, тяжелой, как булыжник; Андрэ Мениль, внушительный фармацевт из нормандского городка, краснобай, с отличной пушистой бородой, совсем не похож на Ламюза, мордастого крестьянина из Пуату, толстяка, у которого щеки и затылок вроде ростбифа. Жаргон долговязого Барка, исходившего весь Париж, смешивается с почти бельгийским певучим говором северян, попавшим к нам из 8-го полка, со звонкой раскатистой речью ребят из 144-го полка, с наречием овернцев из 124-го полка, которые упрямо собираются в кучки среди чужаков, словно муравьи, притягивающие друг друга…

Я еще помню первую фразу весельчака Тирета, – представившись, он сказал: «Ребята, я из Клиши-ла-Гаренн! А вы чем можете похвастать?» – и первую жалобу Паради, которая способствовала его сближению со мной: «Они с меня смеются, потому что я с Морвана[3]…»

Чем мы занимались? Да чем хотите. Кем мы были в ныне отмененные времена, когда у нас еще было какое-то место в жизни, когда мы еще не зарыли нашу судьбу в эти норы, где нас поливают дождь и картечь? Большей частью земледельцами и рабочими. Ламюз – батраком, Паради – возчиком; у Кадийяка, детская каска которого, как говорит Тирет, торчит на остром черепе, словно купол колокольни, есть своя земля. Дядя Блер был фермером в Бри. Барк служил посыльным в магазине и, отвозя товар на трехколесном велосипеде, шнырял

[3] Горная область в центре Франции.

между парижскими трамваями и такси, мастерски ругал пешеходов и распугивал их, словно кур, на проспектах и площадях. Капрал Бертран, который держится всегда в сторонке, молчаливый и вежливый, с прекрасным мужественным лицом и открытым взглядом, был рабочим в мастерской футляров. Тирлуар красил автомобили и, говорят, не ворчал. Тюлак держал маленькое кафе у заставы дю Трон, а добродушный бледный Эдор – кабачок у дороги, недалеко от теперешнего фронта; его заведению, конечно, здорово досталось от снарядов: как известно, Эдору не везет. Мениль Андрэ, еще довольно опрятный и причесанный, торговал в аптеке на площади содой и непогрешимыми патентованными средствами; его брат Жозеф продавал газеты и иллюстрированные романы на станции железной дороги; далеко, в Лионе, очкастый Кокон, человек-цифра, облачившись в черную блузу, весь в ржавчине, хлопотал за конторкой скобяной лавки, а Бекюв Адольф и Потерло с самой зари при свете тусклой лампочки, своей единственной звезды, добывали уголь в шахтах на Севере.

Есть и другие; чем они занимались, не упомнишь; их смешиваешь одного с другим; есть деревенские бродячие мастера на все руки, не говоря уже о подозрительном Пепене: у него, наверно, не было никакого ремесла. (Мы только знаем, что три месяца тому назад, после выздоровления в лазарете, он женился… чтобы получить пособие, установленное для жен мобилизованных.)

Среди нас нет людей свободных профессий. Учителя обыкновенно – унтер-офицеры или санитары. В полку брат-марист – старший санитар при полевом госпитале; тенор – ординарец-самокатчик при военном враче; адвокат – секретарь полковника; рантье – капрал, заведующий продовольствием в нестроевой роте. У нас нет ничего подобного. Все мы – настоящие солдаты; в этой войне почти нет интеллигентов – артистов, художников или богачей, подвергающихся опасности у бойниц; они попадаются редко или только в тех случаях, когда носят офицерское кепи.

Да, правда, все мы разные.

И все-таки мы друг на друга похожи.

Несмотря на различие в возрасте, происхождении, образовании, положении и во всем, что существовало когда-то, несмотря на все пропасти, разделявшие нас, – мы в общих чертах одинаковы. Под одной и той же грубой оболочкой мы скрываем или обнаруживаем одни и те же нравы, одни и те же привычки, один и тот же упрощенный характер людей, вернувшихся в первобытное состояние. Одна и та же речь, состряпанная из заводских и солдатских словечек и из местных диалектов, приправленная, как соусом, словообразованиями, объединяет всех нас в единую толпу, которая уже давно приходит со всех концов Франции и скопляется на северо-востоке.

Связанные общей непоправимой судьбой, сведенные к одному уровню, вовлеченные, вопреки своей воле, в эту авантюру, мы все больше уподобляемся друг другу. Страшная теснота совместной жизни нас гнетет, стирает наши особенности. Это какая-то роковая зараза. Солдаты кажутся похожими один на другого, и, чтобы заметить это сходство, даже не надо смотреть на них издали: на расстоянии все мы только пылинки, несущиеся по равнине.

* * *

Ждем. Надоедает сидеть; встаешь. Суставы вытягиваются и потрескивают, как дерево, как старые дверные петли. От сырости люди ржавеют, словно ружья, медленней, но основательней. И сызнова, по-другому, принимаемся ждать.

На войне ждешь всегда. Превращаешься в машину ожидания.

Сейчас мы ждем супа. Потом будем ждать писем. Но всему свое время: когда поедим супу, подумаем о письмах. Потом примемся ждать чего-нибудь другого.

Голод и жажда – сильные чувства; они мощно действуют на душевное состояние моих сотоварищей. Суп запаздывает, и они начинают злиться и жаловаться. Потребность в пище и питье выражается ворчанием:

– Время уже восемь. Куда это запропастились харчи?

– А мне как раз со вчерашнего дня, с двенадцати часов жрать хочется, – буркает Ламюз. Его глаза увлажняются от голода, а щеки багровеют, словно их мазнули краской.

С каждой минутой недовольство растет.

– Плюме, наверно, опрокинул себе в глотку мою флягу вина, да еще и другие; нализался и где-нибудь свалился пьяный.

– Определенно, и наверняка, – подтверждает Мартро.

– Мерзавцы! Вши проклятые, эти нестроевые! – рычит Тирлуар. – Ну и поганое отродье! Все до одного пропойцы и бездельники! Лодырничают по целым дням в тылу и не могут даже поспеть вовремя. Эх, был бы я хозяином, послал бы я их всех в окопы на наше место, и пришлось бы им попотеть! Прежде всего я бы приказал: каждый во взводе по очереди будет поваром. Конечно, кто хочет… и тогда…

– А я уверен, – орет Кокон, – что это сукин сын Пепер задерживает других. Он делает это назло, да и не может утром продрать глаза, бедняга! Он должен проспать непременно десять часов в своей блошатой постели! А то этому барину целый день будет лень рукой шевельнуть!

– Я б им показал! – ворчит Ламюз. – Будь я там, они б у меня живо повскакали с постели! Я бы двинул их сапогом по башке, схватил бы их за ноги…

– На днях, – продолжает Кокон, – я высчитал: он ухлопал семь часов сорок семь минут, чтобы добраться сюда с тридцать первого пункта. А на это пяти часов за глаза довольно.

Кокон – человек-цифра. У него страсть, жадность к точным числам. По любому поводу он старается добыть статистические данные, собирает их, как терпеливый муравей, и преподносит их всем, кто хочет его послушать. Сейчас он пускает в ход цифры, словно оружие; его сухонькое личико – сочетание углов и треугольников с двойным кольцом очков – искажено злобой.

Он становится на ступеньку для стрельбы, оставшуюся с тех времен, когда здесь была первая линия, и яростно высовывает голову поверх бруствера. При свете косых холодных лучей поблескивают стекла его очков, и капля, висящая на кончике носа, сверкает, как алмаз.

– А Пепер?! Ну и ненасытная утроба! Прямо не верится, сколько кило жратвы он набивает себе в брюхо за один только день!

Дядя Блер «кипит» в своем углу. Его седоватые свисающие усищи, похожие на костяную гребенку, дрожат.

– Знаешь. Там на кухне все они дрянцо на дрянце. Их зовут: «На чёрта, Ни черта́, Ни хрена́ и Компания».

– Форменное дерьмо, – убежденно говорит Эдор и вздыхает. Он лежит на земле с полуоткрытым ртом; у него вид мученика; тусклым взглядом он следит за Пепеном, который снует взад и вперед, словно гиена.

Негодование против опаздывающих все возрастает.

Тирлуар-«ругатель» изощряется вовсю. Он сел на своего конька и чувствует себя в своей стихии. Он подзадоривает товарищей:

– Добро б еще дали что-нибудь вкусное. А то ведь опять угостят какой-нибудь пакостью.

– Эх ребята, а какую падаль дали нам вчера. Нечего сказать… Куски камня! Это у них называется бифштексом? Скорее старая подметка. У-ух! Я сказал ребятам: «Осторожней! Жуйте медленней, а то сломаете клыки: может быть, сапожник забыл вынуть оттуда гвозди!»

В другое время эта шутка Тирета, если не ошибаюсь, бывшего устроителя кинематографических гастролей, нас бы рассмешила, но сейчас все слишком взбешены, и она вызывает только общий ропот.

– А чтобы мы не жаловались, что жратва слишком жесткая, дадут, бывало, вместо мяса чего-нибудь мягкого: безвкусную губку, пластырь. Жуешь, словно кружку воды пьешь, вот и все.

– Да, это, – говорит Ламюз, – неосновательная пища; не держится в брюхе. Думаешь, насытился, а на деле у тебя в кассе пусто. Вот мало-помалу и подыхаешь: пухнешь с голоду.

– Следующий раз, – в бешенстве восклицает Бике, – я добьюсь разрешения поговорить с начальником, я скажу: «Капитан!..»

– А я, – говорит Барк, – объявлюсь хворым и скажу: «Господин лекарь…»

– Жалуйся или нет, все одно ничего не выйдет. Они сговорились выжать все соки из солдата.

– Говорят тебе, они хотят нас доконать!

– А водка?! Мы имеем право получать в окопах водку, – ведь это проголосовали где-то; не знаю где, не знаю когда, – но знаю, что мы торчим здесь вот уже три дня, и три дня нам ее только сулят.

– Эх, беда!

* * *

– Несут! – объявляет солдат, стороживший на повороте.

– Наконец-то!

Буря жалоб и упреков сразу стихает, как по волшебству. Бешенство внезапно сменяется удовлетворением.

Трое нестроевых, запыхавшись, обливаясь потом, ставят на землю фляги, бидон из-под керосина, два брезентовых ведра и кладут круглые хлебы, нанизанные на палку. Прислоняются к стенке траншеи и вытирают лицо платком или рукавом. Кокон с улыбкой подходит к Пеперу и вдруг, забыв, что осыпал его заочно ругательствами, протягивает руку к одному из бидонов, целая коллекция которых привязана к поясу Пепера, наподобие спасательного круга.

– Что ж нам дадут пожевать?

– Да вот это, – уклончиво отвечает помощник Пепера.

Он по опыту знает, что объявлять заранее меню – значит, вызывать горькое разочарование.

И, еще отдуваясь, он начинает жаловаться на длинный, трудный путь, который сейчас пришлось проделать:

– Ну и народу везде! Видимо-невидимо! Яблоку некуда упасть! Прямо арабский базар! Чтоб протолкаться, приходилось сплющиваться в листик папиросной бумаги… А еще говорят: «Служит на кухне, значит, «окопался»… Так вот, по мне, уж в тысячу раз лучше торчать вместе с ротой в окопах, быть в дозоре или на работах, чем заниматься вот этим ремеслом два раза с сутки, да еще ночью!

Паради приподнял крышки бидонов и осмотрел содержимое.

– Бобы на постном масле, суп и кофеек. Вот и все.

– Черт их дери! А вино? – орет Тюлак.

Он созывает товарищей:

– Эй, ребята! Погляди-ка! Безобразие! И вина уже не дают!

Жаждущие сбегаются со всех сторон.

– Тьфу ты, хреновина! – восклицают они, возмущенные до глубины души.

– А в ведре-то что? – ворчит нестроевой, еще весь красный и потный, тыча ногой в ведро.

– Н-да, – говорит Паради. – Ошибка вышла, вино есть.

– Эх ты, раззява! – говорит нестроевой, пожимая плечами, и смотрит на него с невыразимым презрением. – Надень очки, чертова кукла, если не видишь как следует!

И прибавляет:

– По четвертинке на человека… Может быть, чуть-чуть поменьше: меня толкнул какой-то олух в Лесном проходе, вот и пролилось несколько капель… Эх, – спешит он прибавить, повышая голос, – не будь я так нагружен, дал бы ему пинка в зад! Но он смылся на всех парах, скотина!

Несмотря на это решительное утверждение, он сам осторожно сматывается; его осыпают проклятиями, сомневаются в его честности и умеренности: всем обидно, что паек уменьшился.

Все набрасываются на пищу и начинают есть стоя, или на коленях, или присев на корточки, или примостившись на бидоне или на ранце, вытащенном из ямы, где они спят, или повалившись прямо на землю, уткнувшись спиной в грязь, мешая проходить, вызывая ругань и отругиваясь. Если не считать этой перебранки и обычных словечек, которыми они изредка перекидываются, все молчат; они слишком заняты поглощением пищи; рот и подбородок у них вымазаны маслом, как ружейные затворы.

Они довольны.

Как только работа челюстей приостанавливается, все начинают отпускать сальные шутки. Все наперебой орут, чтобы вставить свое словечко. Даже Фарфадэ, щуплый служащий из мэрии, улыбается, а ведь первое время он держался среди нас так благопристойно и одевался так опрятно, что его принимали за иностранца или выздоравливающего. Расплывается в улыбке и красномордый Ламюз; его рот похож на помидор; его радость источает слезы; расцветает, как розовый пион, лицо Потерло; дрожат от удовольствия морщины Блера; он встал, вытянул шею и движется всем коротким тощим тельцем, которое как бы служит придатком к огромным свисающим усам; проясняется даже сморщенная жалкая мордочка Кокона.

* * *

– А кофей! Подогреть бы его, а? – спрашивает Бекюв.

– На чем? Дуть на него, что ли?

Бекюв, любитель горячего кофе, говорит:

– Дайте, уж я это сварганю. Подумаешь, большое дело! Соорудите только печурку и решетку из штыковых ножен. Я уж знаю, где найти дрова. Наколю щепок ножом: хватит, чтоб разогреть котелок. Увидите!

Он идет за дровами.

В ожидании кофе все свертывают папиросы или набивают трубки.

Вынимают кисеты. У некоторых кожаные или резиновые кисеты, купленные у торговца. Но таких мало. Бике вытаскивает табак из носка, завязанного веревочкой. Большинство пользуется мешочком от противогазовой маски, сделанным из непромокаемой ткани: в нем отлично можно хранить «перло» или «легкий» табак. А некоторые просто-напросто выскребывают курево из кармана шинели.

Собравшись в кружок, курильщики харкают у самого входа в землянку, где помещается большая часть полувзвода, и слюной, желтой от никотина, загаживают то место, куда упираются руками и коленями, когда влезают или вылезают.

Но кому какое дело до таких мелочей?

* * *

Мартро получил письмо от жены. Речь зашла о продуктах.

– Моя хозяйка мне написала, – говорит Мартро. – Знаете, сколько теперь стоит у нас хорошая, жирная живая свинья?

… Внезапно обсуждение экономического вопроса превращается в яростный спор между Пепеном и Тюлаком.

Они обмениваются увесистыми отборными ругательствами.

В заключение один говорит другому:

– Да наплевать мне на то, что ты скажешь или не скажешь! Заткнись!

– Заткнусь, если захочу, балда!

– А вот я тебе заткну глотку кулаком!

– Кому? Кому? Мне?

– А ну, а ну!

Они брызжут слюной, скрежещут зубами и наступают друг на друга. Тюлак сжимает свой доисторический топор, его косые глаза мечут молнии. Пепен, бледный, зеленоглазый, с хулиганской мордой, явно подумывает о своем ноже.

Они пронзают друг друга взглядами и рвут на части словами. Вдруг между ними появляется миротворная рука величиной с голову ребенка и налитое кровью лицо: это Ламюз.

– Ладно, ладно! Не станете же вы калечить друг друга! Так не годится!

Другие тоже вмешиваются, и противников разнимают. Из-за спин товарищей они все еще бросают друг на друга свирепые взгляды.

Пепен пережевывает остатки ругательств и желчно, неистово кричит:

– Жулик, хулиган, разбойник! Погоди, я тебе это припомню!

А Тюлак говорит стоящему рядом солдату:

– Этакая гнида! Нет, каково? Видал? Знаешь, право слово: здесь приходится иметь дело со всякой швалью. Как будто знаешь человека, а все-таки не знаешь. Но если этот хочет меня испугать, нарвется! Погоди, на днях я тебя отделаю, увидишь!

Между тем беседа возобновляется и заглушает последние отголоски ссоры.

– И так вот каждый день! – говорит Паради. – Вчера Плезанс хотел дать в морду Фюмексу, уж не знаю за что, из-за каких-то пилюль опиума. То один, то другой грозится кого-нибудь укокошить. Здесь все звереют, ведь мы и живем, как звери.

– Народ несерьезный! – замечает Ламюз. – Прямо дети.

– А еще взрослые!

* * *

Время идет. Сквозь туманы, окутывающие землю, пробилось немного больше света. Но погода по-прежнему пасмурная, и вот пошел дождь. Водяной пар расползается клочьями и оседает. Моросит. Ветер опять веет огромной мокрой пустотой, и его медлительность приводит в отчаяние. От тумана и капель воды тускнеет все, даже тугие кумачовые щеки Ламюза, даже оранжевый панцирь Тюлака, и гаснет в нашей груди радость, которой преисполнила нас еда. Пространство сужается. Над землей, над этим полем смерти, нависает поле печали – небо.

Мы торчим здесь и бездельничаем. Трудно будет убить время, дотянуть до конца дня. Дрожим от холода, переходим с места на место, топчемся, словно скот в загоне.

Кокон объясняет соседу расположение сети наших траншей. Он видел общий план и произвел вычисления. В месте расположении нашего полка пятнадцать линий французских

окопов; из них одни брошены, заросли травой и почти сровнялись с землей; другие глубоки и битком набиты людьми. Эти параллельные линии соединяются бесчисленными ходами, которые извиваются и запутываются, как старые улицы. Сеть окопов еще гуще, чем мы думаем, живя в них. На двадцать пять километров фронта одной армии приходится тысяча километров вырытых линий: окопов, ходов сообщения и других траншей. А французская армия состоит из десяти армий. Значит, около десяти тысяч километров окопов с французской стороны и столько же с немецкой… А французский фронт составляет приблизительно восьмую часть всего фронта войны на земном шаре.

Так говорит Кокон и в заключение обращается к соседу:

– Видишь, как мало мы значим во всем этом…

У Барка бескровное лицо, как у всех бедняков из парижских предместий, козлиная рыжая бородка и хохолок на лбу в виде запятой; он опускает голову.

– Правда, как подумаешь, что один солдат и даже несколько – ничто, даже меньше, чем ничто, вдруг почувствуешь себя совсем затерянным, затонувшим, словно капелька крови в этом океане людей и вещей.

Барк вздыхает и замолкает, и в тишине слышится отрывок рассказываемой вполголоса истории:

– … Он привел двух коней. Вдруг дз-з-з! Снаряд! Остался только один конь…

– Скучно, – говорит Вольпат.

– Ничего, держимся, – бормочет Барк.

– Приходится, – прибавляет Паради.

– А зачем? – с сомнением спрашивает Мартро.

– Да так: нужно.

– Нужно, – повторяет Ламюз.

– Нет, причина есть, – говорит Кокон. – Вернее, много причин.

– Заткнись! Лучше б их не было, раз приходится держаться.

– А все-таки, – глухо говорит Блер, никогда не упуская случая повторить свою любимую фразу, – они хотят нас доконать.

– Сначала, – говорит Тирет, – я думал о том о сем, размышлял, высчитывал; теперь я больше ни о чем не думаю.

– Я тоже.

– Я тоже.

– А я никогда и не пробовал.

– Да ты не такой дурень, как кажешься! – говорит Мениль Андрэ пронзительным насмешливым голосом.

Собеседник втайне польщен; он поясняет свою мысль:

– Первым делом – ты не можешь ничего знать.

– Надо знать только одно: у нас, на нашей земле, засели боши, и надо выкинуть их вон и как можно скорей, – говорит капрал Бертран.

– Да, да, пусть убираются к чертовой матери! Спору нет! Чего там! Не стоит ломать себе башку и думать о другом. Только это уж слишком долго тянется.

– Эх, чтоб их черти драли! – восклицает Фуйяд. – Действительно, долго.

– А я, – говорит Барк, – я больше не ворчу. Сначала я ворчал на всех, на тыловиков, на штатских, на местных жителей, на «окопавшихся». Да, я ворчал, но это было в начале войны, я был молод. Теперь я рассуждаю здраво.

– Здраво рассуждать – это терпеть; как есть, так и ладно!

– Еще бы! Иначе спятишь. И так мы обалдели. Верно я говорю, Фирмен?

Вольпат в знак согласия убежденно кивает головой; он сплевывает и внимательно разглядывает свой плевок.

– Ясное дело! – говорит Барк.

– Тут не стоит доискиваться. Надо жить изо дня в день, если можно, даже из часа в час.

– Правильно, образина! Надо делать, что прикажут, пока не разрешат убираться по домам.

– Н-да, – позевывая, говорит Мениль Жозеф.

Загорелые, обветренные, запыленные лица выражают одобрение; все молчат. Это явно чувство людей, которые полтора года назад явились со всех концов страны и собрались на границе. Это отказ понимать происходящее и отказ быть самим собой; это надежда не умереть и борьба за то, чтобы прожить как можно лучше.

– Приходится делать, что велят, да, но надо выкручиваться, – говорит Барк и, медленно прохаживаясь взад и вперед, месит грязь.

* * *

– Конечно, надо, – подтверждает Тюлак. – А если ты не выкрутишься сам, за тебя этого не сделает никто. Будь благонадежен!

– Еще не родился такой человек, который бы позаботился о другом.

– На войне каждый за себя!

– Ну конечно!

Молчание. И вот среди всех лишений эти люди вызывают сладостные образы прошлого.

– А как в Суассоне одно время хорошо жилось! – говорит Барк.

– Эх, черт!

В глазах появляется отсвет потерянного рая; он озаряет лица, посиневшие от холода.

– Не житье, а масленица! – мечтательно вздыхает Тирлуар; он перестает чесаться и смотрит вдаль, поверх насыпи.

– Эх, накажи меня бог, весь город почти пустовал и в общем был в нашем распоряжении! Дома, постели!..

– И шкафы!

– И погреба!

У Ламюза даже слезы выступили на глазах, расцвело все лицо и защемило сердце.

– А вы долго там оставались? – спрашивает Кадийяк, который прибыл сюда позже с подкреплениями из Оверни.

– Несколько месяцев…

Почти утихшая беседа оживает при этих воспоминаниях о временах изобилия.

Паради говорит, словно во сне:

– Наши солдаты шныряли по дворам; бывало, возвращаются на постой, под мышкой у них по кролику, а к поясу кругом привешаны куры: «позаимствовали» у какого-нибудь старикана или старухи, которых никогда в глаза не видели и не увидят.

Все вспоминают позабытый вкус цыпленка и кролика.

– Случалось кое за что и платить. Денежки тоже плясали. В ту пору мы были богаты.

– В лавках оставляли сотни тысяч франков!

– Мильоны! Каждый день так швыряли деньгами, что и представить себе не можешь. Сущий праздник, как в сказке!

– Верь не верь, – говорит Блер Кадийяку, – но при всем этом богатстве, везде, где мы только ни проходили, трудней всего было достать огонь. Приходилось его искать, находить, покупать. Эх, старина, пришлось нам побегать за огнем!

– А мы стояли там, где нестроевая рота. Поваром был толстяк Мартен Сезар. Вот был мастер добывать дрова!

– Да, молодец! Чего там, он знал свое дело.

– У него на кухне всегда был огонь, всегда. По всем улицам рыскали повара и скулили, что нет ни дров, ни угля; а у нашего всегда был огонь. Если случалось, что ни черта больше нет, он говорил: «Не беспокойся, я уж выкручусь». И в два счета все было готово.

– Можно сказать, он иной раз даже перебарщивал. Первый раз, когда я его увидел на кухне, знаешь, чем он растапливал печку для варева? Скрипкой, – он нашел ее где-то в доме.

– Все-таки безобразие, – говорит Мениль Андрэ. – Скрипка хоть не очень-то полезная вещь, а все-таки…

– Иной раз он пускал в ход бильярдные кии. Нашему Зизи едва-едва удалось спереть один кий, чтобы смастерить себе палку. Все остальное пошло в огонь. Потом потихоньку отправили туда же и кресла из красного дерева. Он их рубил и распиливал по ночам, чтоб какой-нибудь начальник не заметил.

– Ну и штукарь! – говорит Пепен. – А мы пустили в ход старую мебель; нам хватило ее на две недели.

– То-то у нас ничего и нет! Надо сварить суп – ни черта: ни дров, ни угля. После раздачи стоишь дурак дураком перед кучей дерьмовой говядины, а ребята над тобой смеются, да еще потом обругают. Как же быть?

– Такое уж ремесло! Мы не виноваты.

– А начальники не ругались, когда кто-нибудь хапал?

– Они сами тащили, да еще как! Демэзон! Помнишь, какую штуку выкинул лейтенант Вирвен? Высадил топором дверь винного погреба! Один наш солдат увидел, ну, лейтенант подарил ему эту дверь на растопку, чтобы парень не разболтал.

– А бедняга Саладен, офицер по продовольственной части? Его встретили в сумерки: выходит из подвала, а в каждой руке по две бутылки белого вина. Будто кормилица с четырьмя сопляками. Ну, его накрыли; ему пришлось спуститься обратно в эту бутылочную шахту и раздать всем по бутылке. А вот капрал Бертран – строгих правил: не захотел пить. Помнишь, сосиска ходячая?

– А где теперь тот повар, что всегда добывает топливо? – спрашивает Кадийяк.

– Помер. В его котел попал «чемодан». Сам Мартен не был ранен, он умер от потрясения, когда увидел, что его макароны задрали ноги и полетели вверх тормашками. Лекарь сказал: «Пазмы сердца». У него было слабое сердце; он был силен только по части дров. Похоронили его честь честью. Гроб сделали из паркета; плитки сколотили гвоздями, на которых висели картины; вбили кирпичом. Когда повара несли на кладбище, я думал: «Его счастье, что он умер: ведь если б он это видел, он никогда не простил бы себе, что не додумался пустить на растопку паркет». Этакий ловкач!

– Наш брат солдат выкручивается, как может; на товарища ему наплевать. Скажем, ты отвиливаешь от работы в наряде, или хватаешь кусок получше, или занимаешь местечко поудобней, а от этого другим плохо приходится, – философствует Вольпат.

– Я часто выкручивался, чтоб не идти в окопы, – говорит Ламюз, – и не помню уж, сколько раз мне удавалось отвертеться. Сознаюсь. Но когда ребята в опасности, я не отлыниваю, не выкручиваюсь. Тут я забываю, что я военный, забываю все. Тут для меня только люди, и я действую. Зато в других случаях я думаю о собственной шкуре.

Это не пустые слова: Ламюз – мастер по части увиливания; тем не менее он спас жизнь многим раненым, подобрав их под обстрелом.

Он объясняет это без хвастовства:

– Мы все лежали в траве. Боши здорово палили. Трах-тах-тах! Бац, бац!.. Дззз, дззз!.. Вижу: несколько ребят ранено, я встаю, хоть мне и кричат: «Ложись!» Не могу ж я их оставить. Да в этом и нет никакой заслуги: я не мог поступить по-другому.

Почти за всеми солдатами из нашего взвода числятся высокие воинские подвиги; у каждого кресты за храбрость.

– А я не спасал французов, зато хватал бошей, – говорит Бике.

Во время майских атак он бросился вперед; он исчез и вернулся с четырьмя немцами.

– А я их убивал, – говорит Тюлак.

Два месяца тому назад он уложил в ряд перед взятой траншеей девять немцев.

– Но больше всего я ненавижу их офицеров.

– А-а, сволочи!

Этот крик вырвался у всех сразу, из глубины души.

– Эх, старина, – говорит Тирлуар, – вот толкуют, что немцы – погань. А я не знаю, правда это или и тут нас морочат; может быть, их солдаты такие же люди, как и мы.

– Наверно, такие же люди, как мы, – говорит Эдор.

– Как сказать! – кричит Кокон.

– Во всяком случае нельзя знать точно, каковы солдаты, – продолжает Тирлуар, – зато уж немецкие офицеры!.. Ну, это не люди, а чудовища. Это особая погань, верно тебе говорю, старина. Можно сказать: это микробы войны. Ты бы поглядел на них вблизи: ходят, точно аршин проглотили, долговязые, тощие, будто гвозди, а головы у них телячьи.

– А у многих змеиные.

– Я раз как-то возвращался из наряда, – продолжает Тирлуар, – и встретил пленного. Вот падаль! Это был прусский полковник, говорят, с княжеской короной и золотым гербом на ремнях. Пока его вели по траншее, он все орал: как смели его задеть по дороге! И на всех он смотрел сверху вниз. Я сказал про себя: «Ну, погоди, голубушка, ты у меня попляшешь!» Я выждал удобную минуту, изловчился и со всей силы дал ему пинка в зад. Так он, знаешь, повалился на землю и чуть не задохся.

– Задохся?

– Да, со злости: он понял, что случилось, а именно, что по его офицерской, дворянской заднице саданул простым сапогом, подбитым гвоздями, простой солдат. Он завыл, как баба, и забился, как припадочный.

– Я не злой, – говорит Блер. – У меня дети, и мне жалко резать дома даже свинью знакомую, но этакого гада я б охотно пырнул штыком – у-ух! – прямо в пузо!

– Я тоже!

– Да еще не забудьте, – говорит Пепен, – что у них серебряные каски и пистолеты, за которые всегда можно выручить сотню монет, и призматические бинокли, которым цены нет. Эх, беда! Сколько я упустил удобных случаев в начале войны! В ту пору я был балдой. Так мне и надо! Но будьте благонадежны, уж я добуду серебряную каску. Слушай, накажи меня бог, когда-нибудь добуду. Я хочу не только шкуру, но и добро Вильгельмова золотопогонника. Будьте благонадежны: я сумею это раздобыть до конца войны!

– А ты думаешь, война кончится? – спрашивает кто-то.

– А то нет? – отвечает другой.

* * *

Вдруг справа от нас поднимается шум; появляется толпа людей; темные фигуры перемешаны с цветными.

– В чем дело?

Бике идет на разведку; скоро он возвращается, указывает большим пальцем через плечо на пеструю толпу и говорит:

– Эй, ребята, поглядите! Публика!

– Публика?

– Ну да. Господа. «Шпаки» со штабными.

– Штатские! Только бы продержались!

Это сакраментальная фраза. Она вызывает смех, хотя ее слышали уже сотни раз; справедливо или нет, солдат придает ей другой смысл и считает ее насмешкой над своей жизнью, полной лишений и опасностей.

Подходят две важных особы, две важных особы в пальто, с тростью в руке; и третий в охотничьем костюме, в шляпе с перышком; в руке у него полевой бинокль.

За штатскими идут; указывая им дорогу, два офицера в светло-голубых мундирах, на которых блестят рыжие или черные лакированные портупеи.

На рукаве у капитана сверкает шелковая повязка с вышитыми золотыми молниями; он предлагает посетителям взобраться на ступеньку для стрельбы у старой бойницы, чтобы поглядеть. Господин в дорожном костюме влезает, опираясь на зонтик.

– Видел? – спрашивает Барк. – Ни дать ни взять, начальник станции, разрядился и показывает вагон первого класса на Северном вокзале богатому охотнику в день открытия охоты: «Пожалуйте, садитесь, господин помещик!» Знаешь, когда господа из высшего общества, одетые с иголочки, щеголяют ремнями и побрякушками, и валяют дурака, и пускают пыль в глаза своим снаряжением… Охотники на мелкого зверя!

Три-четыре солдата, у которых обмундирование было не в порядке, исчезают под землей. Остальные не двигаются, застывают; даже их трубки потухли; слышатся только обрывки беседы офицеров и гостей.

– Это окопные туристы, – вполголоса говорит Барк и громче прибавляет: – Им говорят: «Пожалуйте сюда, медам и месье!»

– Заткнись! – шепчет Фарфадэ, опасаясь, как бы горластый Барк не привлек внимание этих важных господ.

Кое-кто из них поворачивает голову в нашу сторону. От этой кучки отделяется какой-то господин в мягкой шляпе и развевающемся галстуке. У него седая бородка; он похож на художника. За ним идет другой – очкастый, чернобородый, в белом галстуке, в черном пальто и черном котелке.

– А-а-а! Вот они, наши «пуалю»! – восклицает первый. – Это настоящие «пуалю»!

Он подходит к нам робко, как к диким зверям в Зоологическом саду, и подает руку ближайшему солдату, но довольно неловко, как протягивают кусок хлеба слону.

– Э-э-э, да они пьют кофе, – замечает он.

– У нас говорят «сок», – поправляет человек-сорока.

– Вкусно, друзья мои?

Солдат тоже оробел от этой странной экзотической встречи; он что-то бормочет, хихикает и краснеет, а господин в штатском отвечает: «Э-э-э!»

Он кивает головой и пятится назад.

– Очень хорошо, очень хорошо, друзья мои! Вы – молодцы!

Среди серых штатских костюмов яркие военные мундиры расцветают, словно герани и гортензии на темной клумбе. И вот гости удаляются в обратном направлении. Слышно, как офицер говорит: «Господа журналисты, нам еще многое предстоит осмотреть!»

Когда блестящее общество исчезает из виду, мы переглядываемся. Солдаты, скрывшиеся в норах, постепенно вылезают на поверхность земли. Люди приходят в себя и пожимают плечами.

– Это – газетные писаки, – говорит Тирет.

– Газетные писаки?

– Ну да, те самые птицы, что высиживают газеты. Ты что, не понимаешь, голова садовая? Чтобы писать в газетах, нужны парнишки.

– Значит, это они морочат нам голову? – спрашивает Мартро.

Барк делает вид, что держит под носом газету, и намеренно фальцетом начинает декламировать:

– «Кронпринц рехнулся, после того как его убили в начале войны, а пока у него всевозможные болезни. Вильгельм умрет сегодня вечером и сызнова умрет завтра. У немцев нет больше снарядов; они лопают дерево; по самым точным вычислениям, они смогут продержаться только до конца этой недели. Мы с ними справимся, как только захотим, не снимая ружья с плеча. Если мы и подождем еще несколько дней, то только потому, что нам неохота отказаться от окопной жизни; ведь в окопах так хорошо: там есть вода, газ, душ на всех этажах! Единственное неудобство – зимой там жарковато… Ну, а эти австрийцы уже давно не держатся: только притворяются…» Так пишут уже пятнадцать месяцев, и редактор говорит своим писакам: «Эй, ребята, ну-ка, поднажмите! Постарайтесь состряпать это в два счета и размазать на четыре белые страницы: их надо загадить!»

– Правильно! – говорит Фуйяд.

– Ты что смеешься, капрал? Разве это неправда?

– Кое-что правда, но вы, ребятки, загибаете, и если бы пришлось отказаться от газет, вы бы первые заскулили. Небось, когда приносят газеты, вы все кричите: «Мне! Мне!»

– А что тебе до всего этого? – восклицает Блер. – Ты вот ругаешь газеты, а ты поступай, как я: не думай о них!

– Да, да, надоело! Переверни страницу, ослиная морда!

Беседа прервана, внимание отвлекается. Четверо солдат составляют партию в «манилью»; они будут играть, пока не стемнеет. Вольпат старается поймать листик папиросной бумаги, который улетел у него из рук и кружится и порхает на ветру, над стеной траншеи, как мотылек.

Кокон и Тирет вспоминают казарму. От военной службы в их душе осталось неизгладимое впечатление, это неистощимый источник всегда готовых, неувядаемых воспоминаний; лет десять, пятнадцать, двадцать солдаты черпают из него темы для разговоров… Они воюют уже полтора года, а все еще говорят о казарме.

Я слышу часть разговора и угадываю остальное. Ведь эти бывшие рядовые повторяют одни и те же анекдоты: рассказчик когда-то метким и смелым словом заткнул глотку злонамеренному начальнику. Он говорил решительно, громко, резко. До меня доносятся обрывки этого рассказа:

– … Ты думаешь, я испугался, когда Неней мне это отмочил? Ничуть не бывало, старина. Все ребята притихли, а я один громко сказал: «Господин фельдфебель, – говорю, – может быть, это так и есть, но…» (Следует фраза, которой я не расслышал.) Да, да, знаешь, я так и брякнул. Он и бровью не повел. «Ладно, ладно», – говорит, – и смылся, и с тех пор он всегда был шелковый.

– У меня то же самое вышло с Додором, знаешь, унтером тринадцатого полка, когда кончался срок моей службы. Вот была скотина! Теперь он сторож в Пантеоне. Он меня, страшное дело, как терпеть не мог! Так вот…

И каждый выкладывает свой запас исторических слов. Все они как на подбор, каждый говорит: «Я не такой, как другие!»

* * *

– Почта!

Подходит рослый широкоплечий парень с толстыми икрами, одетый тщательно и щеголевато, как жандарм.

Он дурно настроен. Получен новый приказ, и теперь каждый день приходится носить почту в штаб полка. Он возмущается этим распоряжением, как будто оно направлено исключительно против него.

Но, не переставая возмущаться, он мимоходом, по привычке, болтает то с одним, то с другим солдатом и созывает капралов, чтобы передать им почту. Несмотря на свое недовольство, он делится всеми имеющимися у него новостями. Развязывая пачку писем, он распределяет запас устных известий.

Прежде всего он сообщает, что в новом приказе черным по белому написано: «Запрещается носить на шинели капюшон».

– Слышишь? – спрашивает Тирлуара Тирет. – Придется тебе выбросить свой шикарный капюшон.

– Черта с два! Это меня не касается. Этот номер не пройдет! – отвечает владелец капюшона: дело идет не только об удобстве, задето и самолюбие.

– Это приказ командующего армией!

– Тогда пусть главнокомандующий запретит дождь. Знать ничего не желаю. И слышать не хочу.

Вообще приказами, даже не такими необычными, как этот, солдаты возмущаются… прежде чем их выполнить.

– Еще приказано, – прибавляет почтарь, – стричь бороду. И патлы. Под машинку, наголо!

– Типун тебе на язык! – говорит Барк: приказ непосредственно угрожает его хохолку. – Не на такого напал! Этому не бывать! Накось, выкуси!

– А мне-то что! Подчиняйся или нет, мне на это наплевать.

Вместе с точными писаными известиями пришли и другие, поважней, но зато неопределенные и сказочные: будто бы дивизию сменят и пошлют на отдых в Марокко, а может быть, в Египет.

– Да ну? Э-э!.. О-о!.. А-а!!

Все слушают. Поддаются соблазну новизны и чуда.

Однако кто-то спрашивает:

– А кто тебе сказал?

Почтарь называет источник своих сведений:

– Фельдфебель из отряда ополченцев; он работает при ГШК.

– Где?

– При Главном штабе корпуса… Да и не он один это говорит. Знаешь, еще парень, не помню, как его звать: что-то вроде Галля, но не Галль. Кто-то из его родни, не помню уж, какая-то шишка. Он знает.

– Ну и как?..

Солдаты окружили этого сказочника и смотрят на него голодным взглядом.

– Так в Египет, говоришь, поедем?.. Не знаю такого. Знаю только, что там были фараоны в те времена, когда я мальчишкой ходил в школу. Но с тех пор…

– В Египет!..

Эта мысль внезапно овладевает воображением.

– Нет, лучше не надо! – восклицает Блер. – Я страдаю морской болезнью, блюю… Ну, да ничего, морская болезнь быстро проходит… Только вот что скажет моя хозяйка?

– Не беда! Привыкнет! Там улицы кишмя кишат неграми и большими птицами, как у нас воробьями.

– А ведь мы должны были отправиться в Эльзас?

– Да, – отвечает почтальон. – В Казначействе некоторые так и думают.

– Что ж, это дело подходящее!

… Но здравый смысл и опыт берут верх и гонят мечту. Уж сколько раз твердили, что нас пошлют далеко, и столько раз мы этому верили, и столько раз это не сбывалось! Мы вдруг как будто просыпались после сна.

– Все это брехня! Нас слишком часто охмуряли. Не очень-то верь и не порть себе кровь.

Солдаты опять расходятся по своим углам; у некоторых в руке легкая, но важная ноша – письмо.

– Эх, надо написать, – говорит Тирлуар, – недели не могу прожить, чтобы не написать домой. Ничего не поделаешь!

– Я тоже, – говорит Эдор, – я должен написать женке.

– Здорова твоя Мариетта?

– Да, да.

Некоторые уже примостились для писания. Барк стоит, разложив бумагу на записной книжке в углублении стены: на него словно нашло вдохновение. Он пишет, пишет, согнувшись, с остановившимся взглядом, поглощенный своим делом, словно скачущий всадник.

У Ламюза нет воображения; он сел, положил на колени пачку бумаги, послюнил карандаш и перечитывает последние полученные им письма: он не знает, что написать еще, кроме того, что уже написал, но упорно хочет сказать что-то новое.

От маленького Эдора веет нежной чувствительностью; он скрючился в земляной нише. Он держит в руке карандаш, сосредоточился и, не отрываясь, смотрит на бумагу; он мечтательно глядит, вглядывается, что-то видит, его озаряет другое небо. Взгляд Эдора устремлен туда. Эдор словно разросся в великана и достигает родных мест…

Именно в эти часы люди в окопах становятся опять, в лучшем смысле слова, такими, какими были когда-то. Многие предаются воспоминаниям и опять заводят речь о еде.

Под грубой оболочкой начинают биться сердца; люди невольно бормочут слова любви, вызывают в памяти былой свет, былые радости: летнее утро, когда в свежей зелени сада сияет белизной сельский дом или когда в полях на ветру медлительно и сильно колышутся хлеба и рядом беглой женственной дрожью вздрагивают овсы; или зимний вечер, стол, сидящих женщин и их нежность, и ласковую лампу, и тихий свет ее жизни, и ее одежду – абажур.

Между тем Блер принимается за начатое кольцо: он надел еще бесформенный алюминиевый кружок на круглый кусочек дерева и обтачивает его напильником. Он усердно работает, изо всех сил думает; на его лбу обозначаются две морщины. Иногда он останавливается, выпрямляется и с нежностью смотрит на свое изделие, словно оно тоже глядит на него.

– Понимаешь? – сказал он мне однажды о другом кольце. – Дело не в том, хорошо это вышло или скверно. Главное, я сам это сделал для жены, понимаешь? Когда меня одолевала тоска и лень, я глядел на эту карточку (он показал фотографию толстой женщины), и тогда мне опять становилось легко работать над этим кольцом. Можно сказать, мы сделали его вместе, понимаешь? Можно сказать, кольцо было мне добрым товарищем, и я с ним простился, когда отправил его моей хозяйке.

Теперь он вытачивает новое кольцо. С медным ободком. Блер работает рьяно. Он вкладывает в эту работу всю душу и хочет как можно лучше выразить свое чувство; у него своя каллиграфия.

Почтительно склоняясь над легкими, убогими «драгоценностями», такими маленькими, что большая огрубевшая рука не может их удержать и роняет, эти люди, сидящие в голых ямах, кажутся еще более дикими, еще более первобытными, но вместе с тем и, человечными, чем в любом другом облике.

Невольно возникает мысль о первом изобретателе, праотце художников, который пытался придать долговечным материалам образ всего, что он видел, и вдохнуть в них душу всего, что чувствовал.

* * *

– Идут! Идут! – возвещает шустрый Бике, исполняющий в нашей части траншеи обязанности швейцара. – Их целая куча!

Действительно, появляется туго затянутый, наглухо застегнутый фельдфебель и, помахивая ножнами от сабли, кричит:

– А ну, проваливай! Говорят вам, проваливай! Чего вы тут околачиваетесь? Живо! Чтоб я вас больше не видел в проходе!

Все нехотя отходят. Некоторые, в сторонке, медленно, постепенно погружаются в землю.

Идет рота ополченцев, присланная сюда для земляных работ по укреплению окопов второй линии и тыловых ходов. Они вооружены кирками и ломами, одеты в жалкие лохмотья, еле волочат ноги.

Мы их разглядываем. Они проходят один за другим, исчезают. Это скрюченные старички с обсыпанными пеплом щеками или толстяки, страдающие одышкой, затянутые в слишком тесные, выцветшие, замаранные шинели; пуговиц не хватает; изодранное сукно оттопыривается.

Наши зубоскалы, Барк и Тирет, прижавшись к стене, рассматривают их сначала молча. Потом начинают улыбаться.

– Парад метельщиков! – говорит Тирет.

– Посмеемся! – возвещает Барк.

Кое-кто из старичков забавен. Вот у этого, что плетется в шеренге, плечи покатые, как у бутылки; у него очень узкая грудь и тощие ноги, и все-таки он пузатый.

Барк не выдерживает:

– Эй ты, барон Дюбидон!

– Ну и пальтецо! – замечает Тирет, заметив человека, у которого вся шинель в разноцветных заплатах.

Он окликает ветерана:

– Эй, дядя с образчиками!.. Эй ты, послушай!

Тот оборачивается и глядит на Тирета, разинув рот.

– Дяденька, послушай, будь любезен, дай мне адрес твоего лондонского портного!

Человек с поношенным, морщинистым лицом хихикает. Услышав оклик Барка, он останавливается, но поток людей, идущих за ним, сейчас же уносит его дальше.

Проходит несколько менее замечательных фигур, и вдруг появляется новая жертва для шутников. На красной жесткой шее растет что-то вроде грязной бараньей шерсти. Колени согнуты, тело подалось вперед, спина колесом; этот ополченец еле держится на ногах.

– Глянь, – орет Тирет, указывая на него пальцем, – вот знаменитый человек-гармошка! На ярмарке вы бы платили, чтобы поглазеть на него. А здесь – задаром.

Ополченец вполголоса ругается. Кругом хохочут.

Этого достаточно, чтобы подзадорить остряков; желание вставить свое словцо и позабавить нетребовательную публику побуждает их вышучивать старых товарищей по оружию, которые трудятся днем и ночью на окраинах великой войны, подготовляя и приводя в порядок поля битв.

В издевке принимают участие и другие зрители. Сами жалкие, они глумятся над людьми, еще более жалкими.

– Погляди-ка на этого! А вон тот!

– Нет, полюбуйся на того низкозадого: у него зад по земле волочится! Эх, ты, недоносок! Не достать тебе до неба! Эй!

– А этот верзила! Конца-краю ему нет! Вот так небоскреб! Это человек сто́ящий! Да, ты – человек сто́ящий, старина!

«Сто́ящий человек» идет мелкими шажками; он держит кирку прямо перед собой, как свечу; у него искаженное лицо, весь он скрючился от «прострела».

– Эй, дедушка, хочешь два су? – спрашивает Барк, хлопая его по плечу, когда тот проходит совсем близко.

Оскорбленный ополченец ворчит:

– Ах ты, чертов шалопай!

Тогда Барк пронзительным голосом кричит:

– Ну, ты поаккуратней, старый слюнтяй, лохань с дерьмом!

Ополченец резко поворачивается и в бешенстве что-то бормочет.

– Э-э, – смеясь кричит Барк, – да он и сердиться умеет, рухлядь. Он и драться готов, скажите пожалуйста! Его можно было бы испугаться, будь ему только на шестьдесят лет меньше!

– И если бы он не нахлестался, – без всякого основания прибавляет Пепен, уже отыскивая взглядом другие жертвы.

Показывается впалая грудь последнего старика, и вскоре исчезает его сутулая спина.

Шествие ветеранов, изможденных, измаранных окопной грязью, заканчивается; зрители, эти мрачные троглодиты, наполовину вылезшие из своих зловонных пещер, провожают их насмешливыми, почти враждебными взглядами.

А время идет; небо тускнеет, предметы чернеют; вечер примешивается к слепой судьбе и темной невежественной душе толп, заживо погребенных в окопах.

В сумерках раздается топот, гул и говор – это прокладывает себе дорогу новый отряд.

– Африканцы!

Они проходят. Коричневые, желтые, бурые лица; редкие или густые, курчавые бороды; зеленовато-желтые шинели; грязные каски с изображением полумесяца вместо нашего значка – гранаты. Лица, широкие или, наоборот, угловатые и заостренные, блестят, как новенькие медные монеты; глаза сверкают, как шарики из слоновой кости и оникса. Время от времени в шеренге выделяется черная, словно уголь, рожа рослого сенегальского стрелка. За ротой несут красный флажок с изображением зеленой руки.

На них глядят молча. Их никто не задевает. Они внушают почтение и даже некоторый страх.

Между тем эти африканцы кажутся веселыми и оживленными. Они, конечно, идут в окопы первой линии. Это их обычное место; их появление – признак предстоящей атаки. Они созданы для наступления.

– Они да еще семидесятипятимиллиметровки! Можно сказать, им надо поставить свечку! В трудные дни марокканскую дивизию всегда посылали вперед!

– Они не могут шагать в ногу с нами. Они идут слишком быстро. Их уж не остановишь…

Это черные, коричневые, бронзовые черти; некоторые из них суровы; они молчаливы, страшны, словно капканы. Другие смеются; их смех звенит, как странная музыка экзотических инструментов; сверкает оскал зубов.

Зрители пускаются в рассказы о свойствах этих «арапов»: об их неистовстве в атаках, их страсти к штыковым боям, их беспощадности. Повторяют истории, которые африканцы охотно рассказывают сами, и все почти в тех же выражениях и с одинаковыми жестами: «Немец поднимает руки: «Камрад! камрад!» – «Нет, не камрад!» И мимически изображают штыковой удар: как штык всаживают в живот сверху и вытаскивают снизу, подпирая ногой.

Один сенегальский стрелок, проходя мимо нас, слышит, о чем мы говорим. Он смотрит на нас, улыбается во весь рот и повторяет, отрицательно качая головой: «Нет, не камрад, никогда не камрад, никогда! Рубить башка!»

– Они и впрямь другой породы; и кожа у них точно просмоленная парусина, – говорит Барк, хотя он и сам далеко не робкого десятка. – На отдыхе им скучно. Они только и ждут, чтоб начальник положил часы в карман и скомандовал: «Вперед!»

– Что и говорить, это и есть настоящие солдаты!

– А мы не солдаты, мы – люди, – говорит толстяк Ламюз.

Темнеет, и все-таки эти верные ясные слова озаряют лица тех, кто ждет здесь по целым дням, кто ждет здесь месяцами.

Это – люди, заурядные, ничем не примечательные люди, внезапно вырванные из привычной для них жизни. В массе своей они невежественны, равнодушны, близоруки, полны здравого смысла, который иногда им изменяет; они склонны идти, куда велят, делать, что прикажут, выносливы в работе и способны долго терпеть.

Это простые люди, которых еще больше упростили; здесь поневоле усиливаются их главные инстинкты: инстинкт самосохранения, себялюбие, стойкая надежда выжить, удовольствие поесть, попить и поспать.

Но иногда из мрака и тишины их великих человеческих душ вырываются глубокие вздохи, крики страдания…

Стемнело; почти ничего не видно; сначала глухо, где-то вдали, потом все звучней раздается команда:

– Второй полувзвод! Стройсь!

Мы строимся. Начинается перекличка.

– Пошли! – говорит капрал.

Цепь приходит в движение. Перед складом инструментов остановка, топтание на месте. Каждого нагружают лопатой или киркой. В темноте их раздает какой-то унтер.

– Тебе – лопата. Проходи! Тебе – тоже лопата, тебе кирка! Ну, живо! Валяй!

Все идут через проход, перпендикулярный траншее, прямо вперед, к подвижной границе, к новой, живой, страшной границе.

Слышится прерывистое мощное дыхание: в небе невидимый самолет описывает большие дуги, кружится все ниже и заполняет пространство. Впереди, справа, слева, – везде раздаются раскаты грома, и в темноте сверкают крупные беглые зарницы.

III Смена

Сероватая заря с трудом отделяется от еще бесформенной черноты. Между отлогой дорогой, которая справа ведет вниз из мрака, и темной тучей леса Алле, где слышишь, но не видишь, как приготовляются к отправке и отходят боевые обозы, – простирается поле.

Мы, солдаты 6-го батальона, пришли сюда к концу ночи. Мы составили ружья в козлы и теперь, в кругу, озаренные тусклым светом, увязая в грязи, окутанные туманом, мы стоим синеватыми кучками или одинокими призраками; стоим и ждем; все смотрят на дорогу, которая ведет туда, вниз. Мы ждем остальную часть полка: 5-й батальон, который занимал первую линию окопов и вышел после нас.

Вдруг глухой гул…

– Вот они!

На западе показывается какая-то большая черная толпа; она надвигается, словно ночь, на сумерки дороги.

Наконец-то! Кончилась проклятая смена, которая началась вчера в шесть часов вечера и продолжалась всю ночь. Последний солдат вышел из последней траншеи.

На этот раз пребывание в окопах было ужасно. Впереди была восемнадцатая рота. Она сильно пострадала: восемнадцать убитых и около пятидесяти раненых; за четыре дня из каждых трех солдат выбыло по одному, а ведь атаки не было – только бомбардировка.

Мы это знаем, и по мере того как приближается истерзанный батальон, мы шлепаем по грязи и, узнавая друг друга, наклоняемся и говорим:

– Восемнадцатая рота!.. Каково, а?

При этом каждый думает: «Если так будет продолжаться, что станется с нами со всеми? Что будет со мной?»

Семнадцатая, девятнадцатая и двадцатая роты подходят одна за другой и составляют ружья.

– Вот и восемнадцатая!

Она приходит позже всех: она была в первой линии, и ее сменили последней.

День чуть прояснился; показался белесый свет.

Впереди – капитан, ротный командир. Он с трудом идет по дороге, опираясь на палку: он был когда-то ранен на Марне; боль усиливается от ревматизма и еще от другого страдания. Он надел капюшон, опустил голову и как будто идет за гробом; видно, что он задумался и, действительно, идет за гробом.

Вот и рота.

Ее ряды расстроены. У нас сжимается сердце. В этом шествии батальона 18-я рота явно короче трех остальных.

Я выхожу на дорогу и иду навстречу солдатам восемнадцатой. Уцелевшие люди пожелтели от глины и пыли: они как будто окрашены в цвет хаки. Сукно затвердело от присохшей рыжей грязи; полы шинели, словно концы досок, хлопают по желтой коре, которая покрывает колени. Лица исхудалые, землистые; глаза расширились и лихорадочно блестят. От пыли и грязи стало еще больше морщин.

Среди этих солдат, возвращающихся «оттуда», поднявшихся с ужасного дна, стоит оглушительный шум. Они говорят все сразу, наперебой, очень громко, размахивают руками, смеются и поют.

Можно подумать, что на дорогу высыпала праздничная толпа.

Вот второй взвод; во главе идет долговязый лейтенант, затянутый в шинель, похожую на свернутый зонтик. Я следую за солдатами, пускаю в ход локти и проталкиваюсь к отделению Маршаля; эта часть пострадала больше всех; из одиннадцати товарищей, не разлучавшихся целых полтора года, уцелело только три человека, включая капрала Маршаля.

Капрал меня увидел. Он радостно вскрикивает и улыбается во весь рот; он ослабляет свой ружейный ремень и протягивает мне обе руки.

– Эй, друг, как живешь? Как дела?

Я отвожу взгляд и почти шепотом спрашиваю:

– Бедняга, значит, круто пришлось?

Он сразу мрачнеет.

– Да, старина, на этот раз было страшное дело… Барбье убит.

– Да, мне говорили… Барбье!..

– В субботу, в одиннадцать часов вечера. Верхнюю часть спины у него отхватило снарядом, словно бритвой отрезало, – говорит Маршаль. – Бессу осколком пробило живот и желудок. Бартелеми и Бобез ранены в голову и шею. Всю ночь пришлось бегать по траншее, чтоб укрыться от ураганного огня. Малыш Годфруа – ты его знаешь? – ему выдрало внутренности, вся кровь вытекла сразу, как из опрокинутой лохани: он был такой маленький, а сколько крови в нем было, прямо диву даешься: в траншее хлынул целый ручей, по крайней мере в пятьдесят метров! Куньяру осколками искрошило ноги. Когда его подняли, он еще дышал. Это было на сторожевом посту. Я был вместе с ними. Но когда упал этот снаряд, меня там не было: я пошел в окопы спросить, который час. Я оставил на посту ружье, а когда вернулся, смотрю: его согнуло пополам, ствол скрутило, как штопор, а часть приклада превратилась в опилки. Так пахло свежей кровью, что меня затошнило.

– А Мондэн тоже, да?

– Его на следующее утро, значит вчера, в землянке; ее разрушил «чемодан». Мондэн лежал: ему раздробило грудь. А говорили тебе о Франко? Он был рядом с Мондэном. Обвалом ему перешибло позвоночник. Когда его отрыли и усадили на землю, он заговорил; он наклонил голову набок, сказал: «Помираю», и помер. С ним был еще Вижиль; на теле ничего не было, но голову расплющило в лепешку; большая, широченная, – вот такая! Он лежал плашмя на земле, черный, его нельзя было узнать; словно это была его тень, тень, какую иногда видишь, когда ходишь с фонарем ночью.

– Вижиль! Да ведь он был призыва тринадцатого года, совсем мальчуган! А Мондэн и Франко, такие славные ребята, хоть и с нашивками!.. Вот и нет еще двух хороших товарищей!

– Да, – говорит Маршаль.

Но его уже окружает целая орава товарищей; его окликают и дергают со всех сторон. Он отбивается, отвечает на их шутки, и все толкаются и смеются.

Я перевожу взгляд с одного на другого; лица веселые и, хотя искажены усталостью и покрыты корой грязи, выражают торжество.

Да чего там! Если бы на передовых позициях солдатам давали вино, я бы сказал: «Они все пьяны!»

Я приглядываюсь к одному из уцелевших солдат; он что-то лихо напевает и шагает в такт, как гусары в песенке; это барабанщик Вандерборн.

– Эй, Вандерборн! Да ты, кажется, доволен?

Вандерборн, обычно спокойный, сдержанный, кричит:

– Мой черед еще не пришел! Видишь: вот он – я!

И с сумасшедшим видом он размахнулся и хлопнул меня по плечу.

Понимаю…

Если эти люди, несмотря ни на что, счастливы, выйдя из ада, то именно потому, что они оттуда вышли. Они вернулись, они спасены! Еще раз смерть их пощадила. По установленному порядку, каждая рота идет на передовые позиции раз в шесть недель! Шесть недель! На войне у солдат, и в важных, и в незначительных делах, детская психология: они никогда не заглядывают далеко вперед. Они думают только о завтрашнем дне, живут изо дня в день. Сегодня каждый из этих людей уверен, что хоть еще немножко, а поживет!

Вот почему, несмотря на чудовищную усталость и на свежую кровь, которой они забрызганы, и на гибель братьев, вырванных из их рядов, несмотря на все, вопреки себе самим, они ликуют, что уцелели, они гордо наслаждаются тем, что еще стоят на ногах.

IV Вольпат и Фуйяд

Мы пришли на стоянку; кто-то крикнул:

– А где же Вольпат?

– А Фуйяд? Где они?

Их забрал и увел в первую линию окопов 5-й батальон. Мы должны были встретиться с ними на стоянке. Их нет. Два человека из нашего взвода потеряны!

– Эх, распроклятая жизнь! Вот что значит давать людей! – зарычал сержант.

Доложили капитану; он разразился бранью и сказал:

– Мне эти люди нужны! Найти их немедленно! Ступайте!

Капрал Бертран вызвал Фарфадэ и меня из амбара, где мы уже растянулись и засыпали:

– Надо пойти поискать Вольпата и Фуйяда!

Мы вскочили и отправились, охваченные тревогой. Два товарища, взятые 5-м батальоном, попали в эту адскую смену. Кто знает, где они и что с ними стало!

…Мы опять поднимаемся по откосу. Мы идем по той же дороге, но в обратном направлении, по той же длинной дороге, по которой шли с самой зари. Хотя мы взяли с собой только винтовки, мы чувствуем себя усталыми, сонными, скованными среди печальной равнины, под затуманенным небом. Вскоре Фарфадэ начинает тяжело дышать. Сначала он немного говорил, но от усталости замолчал. Он храбр, но хрупок и за всю свою прежнюю жизнь не научился пользоваться ногами; со времен своей первой исповеди он сидел в канцелярии мэрии, между печью и старыми пыльными папками, и только писал бумаги.

В ту минуту, когда мы выходим из лесу и, скользя, увязая в грязи, вступаем в зону ходов сообщения, впереди показываются две тени. Подходят два солдата: видны округлые очертания вещевых мешков и стволы ружей. Двойной колыхающийся призрак обозначается явственней.

– Это они!

У одной тени большая белая перевязанная голова.

– Раненый! Да это Вольпат!

Мы бежим к товарищам. Наши сапоги, хлюпая, увязают в грязи; в подсумках от тряски позвякивают патроны. Тени останавливаются и ждут нас.

– Наконец-то! – кричит Вольпат.

– Ты ранен, друг?

– Что? – спрашивает он.

Сквозь плотную повязку он ничего не слышит. Приходится кричать. Мы подходим, кричим. Тогда он отвечает.

– Это ничего!.. Мы возвращаемся из той дыры, куда 5-й батальон посадил нас в четверг.

– Вы с тех пор и оставались там? – орет Фарфадэ.

Его визгливый, почти женский голос хорошо доходит даже до перевязанных ушей Вольпата.

– Ну да, – отвечает Фуйяд, – Черт бы их побрал! Ты думаешь, мы улетели на крылышках или – еще чище – ушли на своих на двоих без приказания?

Оба садятся на землю. Лицо Вольпата выделяется желтовато-черным пятном; голова, обмотанная холщовыми тряпками, завязанными на макушке в большой узел, кажется кучей грязного белья.

– Бедняги! Про вас забыли!

– Да! – восклицает Фуйяд. – Забыли. Четыре дня и четыре ночи в яме, под градом пуль! И, кроме того, воняло дерьмом.

– Еще бы! – говорит Вольпат. – Это тебе не обычный пост: пошел в смену и вернулся. Этот пост – попросту воронка, похожая на всякую другую воронку от снаряда. В четверг нам сказали: «Стойте здесь и стреляйте безостановочно!» Вот что нам сказали. На следующий день к нам сунул нос парень-связист из пятого батальона. «Что вы здесь делаете?» – спрашивает. «Да вот стреляем; нам приказано стрелять, мы и стреляем. Раз приказано, значит, так и нужно; мы ждем, чтобы нам приказали делать что-нибудь другое». Парень смылся; у него был не очень-то храбрый вид, он никак не мог привыкнуть к пальбе. Он говорил: «Это двести двадцать!»

– У нас на двоих, – говорит Фуйяд, – был один ржаной хлеб, ведро вина (его нам дали в восемнадцатой роте) и целый ящик патронов. Мы палили и попивали винцо. Из осторожности мы приберегли несколько патронов и краюху хлеба; но вина не оставили ни капли.

– И плохо сделали, – говорит Вольпат, – пить хочется. Ребята, есть у вас чем промочить глотку?

– У меня осталось с четвертинку, – отвечает Фарфадэ.

– Дай ему! – говорит Фуйяд, указывая на Вольпата. – Ведь он потерял много крови. А мне только пить хочется.

Вольпата трясет, и среди тряпок, намотанных на голову, его раскосые глаза лихорадочно блестят.

– Э-эх, хорошо! – выпив, говорит он.

– А ведь мы словили двух бошей, – прибавляет он, выливая (как этого требует вежливость) последние капли вина из фляги Фарфадэ. – Они ползли по равнине и сослепу попали в нашу дыру, как кроты в ловушку. Дурачье! Мы их сцапали. Ну, вот. Мы стреляли тридцать шесть часов подряд, так что у нас больше не оставалось запаса. Тогда мы зарядили наши «хлопушки» последними патронами и стали ждать, не отходя от этих увальней-бошей. Парень-связист, верно, забыл сказать в своей части, что мы сидим в этой яме. А вы у себя в шестом батальоне забыли вытребовать нас обратно; восемнадцатая рота про нас тоже забыла. Мы ведь были не на обычном посту, где смена происходит в определенное время, как в карауле; я уж думал, что нам придется торчать там до самого возвращения полка. В конце концов нас открыли санитаришки из двести четвертого полка: они рыскали по равнине, подбирали раненых. Они о нас сообщили. Тогда нам было приказано убираться немедленно. Мы снарядились и посмеивались: хорошее «немедленно», нечего сказать! Мы развязали бошам ноги, повели их, сдали в двести четвертый полк и вот пришли сюда. По дороге мы даже подобрали сержанта: он укрылся в яме и боялся выйти. Мы его выругали; это его подбодрило; он нас поблагодарил; его зовут Сасердот.

– А твоя рана, браток?

– Да я ранен в уши. Недалеко взорвался «чемодан». Как бахнет! Моя голова, можно сказать, проскочила между осколками, но чуть-чуть, а вот ушам досталось.

– Если бы ты видел, – говорит Фуйяд, – оба уха висят, как лохмотья, прямо глядеть противно. У нас было с собой два бинта, а «помощники смерти» дали нам еще один. Он и обмотал башку тремя.

– Ну, давайте ваши пожитки! Идем!

Мы с Фарфадэ делим между собой ношу Вольпата. Фуйяд, мрачный от жажды, ворчит и упрямо не хочет отдавать винтовку и снаряжение.

Мы медленно трогаемся в путь. Всегда забавно идти не в строю; это случается так редко, что удивляешься, и приятно. Нас всех бодрит дыхание свободы. Мы идем по полю, словно ради удовольствия.

– Прогуливаемся! – гордо заявляет Вольпат.

Мы подходим к повороту на вершине откоса. Вольпат предается радужным надеждам.

– Да, старина, в конце концов у меня хорошая рана. Меня эвакуируют. Непременно!

Он моргает глазами; они поблескивают среди накрученных белых бинтов, красноватых с обеих сторон.

Внизу, в деревне, часы бьют десять.

– Плевать мне на время! – говорит Вольпат. – Больше мне до него дела нет.

Он начинает болтать. Его слегка лихорадит; он говорит оживленней и быстрей, с удовольствием ступая замедленным шагом.

– Мне, как пить дать, привяжут к шинели красный ярлык и пошлют в тыл. Меня поведет вежливый господин и скажет: «Пожалуйте сюда, теперь поверните сюда… Так… Бедняга!..» Потом полевой лазарет, санитарный поезд; дамочки из Красного Креста всю дорогу будут за мной ухаживать, как за Жюлем Крапле; потом лазарет в глубоком тылу. Койки с белыми простынями; посреди палаты гудит печь; люди, обязанные заниматься нами; казенные шлепанцы и ночной столик: мебель! А в больших госпиталях! Вот где хорошо кормят! Там мне будут подавать вкусные обеды; там я буду принимать ванны, брать все, что дают. И сласти! Не придется из-за них драться до крови. Ни черта не придется делать: положу руки поверх одеяла, и они будут лежать, как дорогие вещи, как игрушки! А ногам под одеялом будет тепло-тепло; они будут греться сверху донизу, накаляться добела, а пальцы расцветут, как букеты фиалок…

Вольпат останавливается, роется в карманах, вынимает свои знаменитые суасонские ножницы и что-то еще.

– Погляди! Видел?

Это фотография его жены и двух сыновей; он мне ее уже не раз показывал. Я смотрю и одобряю.

– Меня отправят подлечиться, – говорит Вольпат, – и пока мои уши будут прирастать, жена и малыши будут глядеть на меня, а я – на них. И пока уши будут расти, как салат, – война подойдет к концу… Ну, русские поднажмут… Мало ли что может быть…

Он убаюкивает себя этим мурлыканьем, тешит счастливыми предсказаниями, думает вслух, уже как бы отделившись от нас и празднуя свое особое счастье.

– Разбойник! – кричит Фуйяд. – Ну и повезло ж тебе, чертов разбойник.

Да и как ему не завидовать? Он уедет на целый месяц, а то и на два, а то и на три месяца, и на это время, вместо того чтобы бедствовать и подвергаться опасности, превратится в рантье!

– Сначала, – говорит Фарфадэ, – мне было чудно, когда кто-нибудь хотел получить «выгодную рану». А теперь, что бы там ни говорили, теперь я понимаю, что только на это и может надеяться бедный солдат, если он еще не рехнулся.

* * *

Мы подходим к деревне. Идем вдоль леса.

Вдруг на опушке, в полутени, появляется женская фигура. Игра лучей обвела ее светом. Деревья составляют фон из лиловых штрихов. Стройная женщина! Ее голова сияет светом белокурых волос; на бледном лице выделяются огромные ночные глаза. Это ослепительное существо смотрит на нас дрожа; вдруг оно исчезает. Словно факел погас.

Это появление и исчезновение так взволновало Вольпата, что он теряет нить разговора.

– Прямо лань, а не женщина!

– Нет, – не расслышав, говорит Фуйяд. – Ее зовут Эдокси. Я ее знаю: я ее уже видел. Беженка. Не знаю, откуда она. Живет в какой-то семье, в Гамблене.

– Она худенькая, но красивая, – замечает Вольпат. – Хорошо бы ее приголубить!.. Лакомый кусочек, настоящий цыпленочек!.. Ну и глазищи у нее!..

– Затейница! – сказал Фуйяд. – На месте не устоит! Узнаешь ее по всклокоченным белокурым волосам. Видишь ее здесь. И вдруг – хлоп! – нет ее. И, знаешь, не боится ничего. Иногда она добирается почти до первой линии. Ее даже видали в поле, впереди окопов. Занятная!

– Гляди, вот она опять! Она не теряет нас из виду. Неужто мы ее интересуем?

В эту минуту силуэт, очерченный линиями света, украсил уже другой конец опушки.

– Ну, мне на женщин наплевать! – объявляет Вольпат, опять предаваясь мечтаниям о своей эвакуации.

– Во всяком случае в нашем взводе один парень здорово в нее втюрился. Да вот и он; легок на помине!..

Справа из зарослей высунулась голова Ламюза, похожая на морду рыжего кабана.

Он шел по следам этой женщины. Заметил ее, остановился, как вкопанный, уже готов был броситься к ней. Но наткнулся на нас.

Узнав Вольпата и Фуйяда, толстяк Ламюз радостно вскрикнул. В эту минуту он забыл все и думал только о том, как бы поскорей взять у нас и понести мешки, ружья и сумки.

– Давайте все это мне! Я отдохнул. Ну, давайте!

Он хотел нести все. Мы с Фарфадэ охотно избавились от багажа Вольпата, а Фуйяд, выбившись из сил, согласился отдать ему свои сумки и ружье.

Ламюз превратился в ходячий склад. Под огромной ношей он почти исчез и, согнувшись, подвигался мелкими шажками.

Но чувствовалось, что им владеет одна мысль: он поглядывал в сторону, он искал женщину, к которой чуть не бросился.

Останавливаясь, чтобы поправить багаж, передохнуть и отереть пот, он каждый раз украдкой озирался и посматривал на опушку леса. Но больше он не видел этой женщины.

А я увидел ее опять! И на этот раз мне показалось, что ее интересовал кто-то из нас.

Она мелькала там, налево, в зеленой чаще. Держась за ветку, она нагибалась; ее ночные глаза сверкали; бледное лицо, ярко освещенное с одной стороны, сияло как полумесяц. Она улыбалась.

Проследив направление ее взгляда, я обернулся и увидел Фарфадэ; он тоже улыбался.

Потом она скрылась в листве, унося с собой эту ответную улыбку…

Так мне открылась тайна близости этой гибкой, хрупкой, ни на кого не похожей цыганки и выделявшегося среди нас тонкого, стройного Фарфадэ. Ясно…

Ламюз не видел ничего: он был ослеплен и перегружен ношей, которую взял у Фарфадэ и у меня; он старался сохранить равновесие, ничего не уронить, внимательно глядел себе под ноги и с трудом переступал.

У него был несчастный вид. Вот он стонет, задыхается, его гнетет печальная забота. В его хриплом прерывистом дыхании чудится биение и ропот сердца. Глядя на перевязанного Вольпата и на сильного полнокровного толстяка Ламюза, таящего вечно неудовлетворенный порыв, я вижу, что из них опасней ранен не тот, кого считают раненым.

Наконец мы спускаемся к деревне.

– Сейчас попьем, – говорит Фуйяд.

– Меня эвакуируют, – говорит Вольпат.

Ламюз кряхтит.

Товарищи вскрикивают, подбегают и собираются на маленькой площади, где высится церковь с двумя башенками, настолько поврежденная снарядом, что ее трудно узнать.

V Стоянка

Белесая дорога в ночном лесу странно перерезана и загромождена тенями. Словно по волшебству, лес вышел из своих пределов и катится в глубины мрака. Это полк идет на новую стоянку.

Впотьмах тяжелые ряды теней, нагруженных с головы до ног, теснятся и сталкиваются; каждая волна, на которую напирают сзади, натыкается на ту, что катится впереди. По бокам отдельно движутся более стройные призраки – начальники. Над этой плотной толпой, сдавленной откосами, поднимается глухой гул – восклицания, обрывки беседы, слова команды, кашель и песни. Этот шум сопровождается топотом ног, лязгом штыков, манерок и металлических бидонов, рокотом и грохотом шестидесяти фургонов обоза первого разряда и обоза второго разряда; которые следуют за обоими батальонами. Вся эта толпа шагает, вытягивается вверх по дороге, и, под высоким куполом ночи, задыхаешься от запаха, похожего на запах львов в клетке.

Шагая в строю, не видишь ничего, но, когда в давке натыкаешься на соседа, различаешь жестяную миску, голубоватую стальную каску, черный ствол ружья. Иногда, при свете ослепительных искр, выбитых огнивом, или при свете красного пламени, вспыхивающего на крошечной головке спички, замечаешь, за близкими четкими очертаниями рук и лиц, неровные ряды плеч и касок; колыхаясь, как волны, они идут на приступ непроницаемого мрака. Потом все гаснет, и, пока шагают ноги, глаза каждого пешехода не отрываются от того предполагаемого места, где должна торчать спина идущего впереди солдата.

После нескольких остановок тяжело опускаешься на мешок у пирамид ружей, которые составляешь по свистку с лихорадочной поспешностью и удручающей медлительностью, не видя ничего в чернильных потемках; но вот брезжит заря, ширится, овладевает пространством. Стены мрака рушатся. Опять мы присутствуем при величественном зрелище: над нашей вечно бродячей ордой поднимается день.

Из этой походной ночи выходишь, словно по концентрическим кругам: сначала менее густая тень, потом – полутень, потом – тусклый свет. Ноги одеревенели, спины ноют, плечи болят. Лица остаются серо-черными, словно с трудом вырываешься из ночи; теперь никогда уже не удается отделаться от нее окончательно.

На этот раз большое стадо идет на отдых. Где нам придется прожить эту неделю? Думают (но никто не знает точно), что в Гошен-л'Аббэ. Об этой деревне рассказывают чудеса.

– Говорят, там не житье, а рай!

При бледном свете в рядах товарищей начинаешь различать фигуры и лица; люди опустили голову, зевают во весь рот. Раздаются возгласы:

– Никогда еще не было такой стоянки! Там штаб бригады! Там полевой суд! Там у торговцев можно найти все.

– Раз есть штаб бригады, значит, дело пойдет!

– А как ты думаешь, найдется там для нас обеденный стол?

– Все, что хочешь, говорят тебе!

Какой-то пророк зловеще покачивает головой.

– Какая это будет стоянка, я не знаю: я там никогда не бывал, – говорит он. – Знаю только, что она будет не лучше других.

Но ему не верят: мы выходим из шумной лихорадочной ночи; леденея от холода, мы подвигаемся на восток, к неизвестной деревне, которая явит нам дневной свет, и всем кажется, что мы приближаемся к какой-то обетованной земле.

* * *

На рассвете мы подходим к домам, которые еще дремлют у подножия откоса, за плотной завесой серых туманов.

– Пришли!

У-у-ух! Мы отмахали за ночь двадцать восемь километров…

Но что это?.. Мы не останавливаемся. Проходим мимо домов, и постепенно их опять окутывает мгла и саван тайны.

– Значит, придется шагать еще долго. Это – там, там!

Мы шагаем, как автоматы; мы охвачены каким-то оцепенением, ноги каменеют, суставы скрипят, хрустят, мы готовы кричать от боли.

День запаздывает. Вся земля покрыта пеленой туманов. Холод такой, что на остановках измученные люди не решаются присесть и ходят взад и вперед, словно призраки, в сырой темноте. Колючий зимний ветер хлещет нас по лицу, подхватывает, уносит слова и вздохи.

Наконец солнце пробивает пар, нависший над нами и пронизывающий нас сыростью. Среди низких туч открывается волшебная поляна.

Солдаты потягиваются, на этот раз действительно просыпаются и приподнимают голову к серебряному свету первых лучей.

Очень скоро солнце начинает припекать, и становится слишком жарко.

Солдаты в строю уже задыхаются, потеют и ворчат еще сильней, чем недавно, когда они ляскали зубами от холода и когда туман проводил словно мокрой губкой по лицам и рукам.

Местность, по которой мы проходим в это раскаленное утро, – страна мела.

– Сволочи! Они вымостили дорогу известняком!

Дорога ослепляет нас белизной; теперь над нашим шествием нависает большая туча сухой извести и пыли.

Лица багровеют и лоснятся; у некоторых они налиты кровью и словно вымазаны вазелином; щеки и лбы покрываются корой, которая прилипает и крошится. Ноги теряют даже приблизительную форму ног, будто их окунули в кадку штукатура. Сумки и ружья обсыпаны пылью, и вся наша орда оставляет справа и слева на протяжении всего пути молочно-белый след на придорожных травах.

И вдруг, в довершение всего, окрик:

– Правей! Обоз!

Мы бросаемся вправо; дело не обходится без толкотни.

По дороге с адским грохотом мчится целый обоз грузовиков – длинная вереница квадратных болидов. Проклятие! Они мерно поднимают столбы белой пыли, словно ватой окутывают всю землю и осыпают нас.

И вот мы одеты в светло-серый покров; на лицах белесые маски со сгустками на бровях, усах, бороде и в морщинах. Мы похожи на странных стариков.

– Вот состаримся, будем такими уродами, как сейчас, – говорит Тирет.

– У тебя даже плевки белые, – замечает Бике.

Когда мы каменеем на остановке, нас можно принять за ряды статуй; сквозь гипс чуть пробиваются грязные остатки человеческого облика.

Мы трогаемся в путь. Молчим. Мучаемся. Каждый шаг становится пыткой. Лица искажаются гримасами, которые застывают под белой коростой. От бесконечных усилий мы скрючились; мы изнемогаем от мрачной усталости и отвращения.

Наконец мы замечаем желанный оазис: за холмом, на другом холме, повыше, черепичные кровли среди листвы, светло-зеленой, как салат.

Там – деревня; она уже видна, но мы еще не пришли. Наш полк медленно взбирается к ней, а она как будто отступает.

В конце концов, к двенадцати часам дня, мы приходим на стоянку, уже казавшуюся невероятной и сказочной.

Держа ружье на плечо, мерным шагом полк вступает в Гошен-л'Аббэ и до краев заполняет улицу. Ведь большинство деревень в области Па-де-Кале состоит только из одной улицы. Но какой улицы! Часто она тянется на несколько километров. Здесь единственная большая улица разветвляется перед мэрией и образует две другие: деревня расположена в виде буквы Y, неровно обведенной низкими домами.

Самокатчики, офицеры, ординарцы отделяются от длинного движущегося хвоста. По мере того как мы продвигаемся, люди кучками ныряют в ворота сараев: ведь свободные жилые дома предназначены для господ офицеров и канцелярий. Наш взвод сначала ведут на один конец деревни, потом на другой, – туда, откуда мы явились (между квартирмейстерами произошло недоразумение). Это хождение взад и вперед отнимает время; взвод, который гоняют с севера на юг и с юга на север, страшно устал и раздражен бесполезным шаганием; он проявляет лихорадочное нетерпение. Главное – как можно скорее освободиться и устроиться на стоянке, если мы хотим осуществить давно лелеемый замысел: снять у какого-нибудь местного жителя помещение со столом, за которым можно было бы есть и пить! Об этом деле, об его чудесных выгодах уже много толковали. Собрали деньги и решили на этот раз рискнуть и позволить себе такую роскошь.

Но можно ли будет это устроить? Многие помещения уже заняты. Не мы одни пришли сюда с мечтой об удобствах; придется побегать взапуски в поисках стола.

За нашей ротой идут еще три другие, а четыре уже пришли до нас, да еще будут полуказенные столовки для санитаров, писарей, ездовых, ординарцев и других; казенные столовки для унтер-офицеров и что там еще?.. Все эти люди сильней простых рядовых; у них больше свободы действий и возможностей; они могут заблаговременно осуществить свои замыслы. И пока мы еще шагаем по четверо в ряд к сараю, отведенному для нашего взвода, на завоеванных порогах уже стоят эти волшебники и хлопочут по хозяйству.

Тирет блеет и рычит.

– Вот и хлев!

Довольно большой сарай. Рубленая солома; наши шаги поднимают облако пыли; пахнет нужником. Но это – более или менее закрытое помещение. Мы садимся и снимаем с себя ношу.

Те, кто лишний раз мечтал о каком-то рае, лишний раз остаются с носом.

– Послушай, да ведь здесь так же паршиво, как везде.

– Один черт.

– Ну да!

– Ясное дело…

Но нельзя терять время на разговоры. Предстоит выкручиваться и опередить других; это называется «система В» (выкручивания). Изо всех сил и как можно скорей! Мы спешим. Хотя поясницу ломит и ноги разбиты, мы делаем последнее неистовое усилие, от которого будет зависеть наше благополучие в течение целой недели.

Наш отряд разделяется на два патруля: они выходят рысцой, один направо, другой налево, на улицу, уже запруженную озабоченными, ищущими солдатами; все эти кучки следят одна за другой и… торопятся. Кое-где даже сталкиваются и переругиваются.

– Начнем с того конца! Сейчас же! Иначе мы прозеваем!..

Все это представляется мне каким-то отчаянным сражением между всеми солдатами на улицах только что занятой деревни.

– Нам, – говорит Мартро, – все приходится брать с бою, все!

* * *

Мы обходим дома, стучим в каждую дверь, робко здороваемся, предлагаем себя, как ненужный товар. Раздается чей-то голос:

– Мадам, нет ли у вас уголка для солдатиков? Мы заплатим.

– Нет, у меня стоят офицеры! – или: – Унтер-офицеры, – или: – Здесь столовка для музыкантов, для писарей, для почтарей, для господ санитаров из лазарета и т. д.

Сколько хлопот! Перед нами закрываются все приоткрывшиеся двери, а мы по ту сторону порога переглядываемся, и в наших глазах все меньше надежды.

– Господи! Вот увидишь, мы не найдем ничего, – ворчит Барк. – Слишком много разной швали успело устроиться до нас! Вот дерьмо!

Толпа повсюду растет. Все три улицы начинают чернеть и наполняться по закону сообщающихся сосудов. По дороге нам попадаются жители: старики, или уродливые скрюченные мужчины, или заморыши с перекошенной рожей, или молодые люди, от которых веет тайной скрытых болезней и политических связей. Много старух в нижних юбках и девушек, тучных, пухлощеких, покачивающихся, как белые гусыни.

Вдруг, между двумя домами, на какой-то улочке, мне является видение: в темноте мелькает женщина…

Это Эдокси! Эдокси, женщина-лань; это ее на равнине преследовал, как фавн, Ламюз в то утро, когда мы вели раненого Вольпата и Фуйяда и она появилась перед нами на опушке леса, как бы соединенная с Фарфадэ улыбкой.

Она-то и озарила, словно неожиданное сияние, эту улочку. Но вдруг исчезла за выступом стены, и все опять погрузилось во мрак… Она здесь? Уже? Значит, она следовала за нами в нашем долгом, мучительном странствовании?.. Ее тянет к нам…

Да, это бросается в глаза: я видел ее только минуту, в светлом уборе ее волос, но заметил, что она задумчива и озабочена.

Ламюз идет вслед за мной и ее не замечает. Я ему о ней не говорю. Он еще успеет заметить это прекрасное пламя, он рвется всем существом к этой женщине, но она убегает от него, как блуждающий огонек. Впрочем, пока мы слишком заняты делами. Надо во что бы то ни стало завоевать желанный угол. С настойчивостью отчаявшихся людей мы опять идем на поиски. Нас увлекает за собой Барк. Он принял это дело близко к сердцу. Он весь трепещет, его обсыпанный пылью хохолок тоже дрожит. Он нас ведет, принюхиваясь к воздуху. Он предлагает нам попытаться проникнуть в эту желтую дверь. Вперед!

У желтой двери показывается согбенная фигура: поставив ногу на дорожный столб, Блер очищает ножом заскорузлый сапог и сдирает с него слой известки… Он словно занимается лепкой.

– У тебя никогда не было таких белых ног, – поддразнивает его Барк.

– Ладно, шутки в сторону, – говорит Блер, – ты не знаешь, где эта повозка?

Он поясняет:

– Хочу разыскать зубоврачебную повозку, чтобы мне вырвали последние старые костяшки и вставили челюсть. Говорят, эта повозка зубодера стоит здесь.

Он складывает нож, прячет его в карман и идет вдоль стены, поглощенный мыслью о воскрешении своей челюсти…

Лишний раз мы клянчим, как нищие, повторяя все те же словечки:

– Здравствуйте, мадам! Нет ли у вас уголка для еды? Мы заплатим, мы заплатим, ясное дело…

– Нет…

При свете низкого оконца, как в аквариуме, показывается странное плоское лицо старика, перерезанное морщинами, похожее на страницу старой рукописи.

– У тебя ведь есть сарайчик?

– В сарайчике тоже нет места: там стирают белье…

Барк подхватывает эти слова на лету.

– Все-таки, может быть, подойдет. Можно взглянуть?

– Там стирают, – бормочет женщина, продолжая подметать пол.

– Знаете, – скорчив любезную мину, говорит Барк, – мы ведь не какие-нибудь буяны, что напьются и скандалят. Можно взглянуть, а?

Баба перестает мести. Она худая и плоская. Кофта висит на ней, как на вешалке. У нее невыразительное, застывшее, словно картонное лицо. Она смотрит на нас и нерешительно, нехотя ведет нас в темную-темную глинобитную конуру, заваленную грязным бельем.

– Великолепно! – искренне восклицает Ламюз.

– Славная девчурка! – говорит Барк и треплет по щеке пухлую, румяную девочку, которая разглядывает нас, задрав грязный носик. – Мадам, это ваша?

– А этот? – решается спросить Мартро, показывая на откормленного ребенка, с тугими, как пузырь, щечками, вымазанными в варенье и пыли.

Мартро робко пытается приласкать чумазого, липкого малыша.

Женщина не удостаивает ответом.

Мы топчемся, юлим, хихикаем, словно нищие, мольбы которых еще не услышаны.

– Хоть бы эта старая стерва согласилась! – с тревогой шепчет мне на ухо Ламюз. – Здесь отлично, а везде уже занято.

– Стола нет, – наконец говорит женщина.

– О столе не беспокойтесь! – восклицает Барк. – Да вот в углу стоит старая дверь. Она будет нам столом.

– Нет, вы мне тут все разбросаете и перевернете вверх дном! – недоверчиво отвечает картонная женщина, явно жалея, что сразу же не прогнала нас.

– Право, не беспокойтесь! Да сейчас увидите сами! Эй, Ламюз, подсоби мне, друг!

Мы кладем старую дверь на две бочки. Карга недовольно смотрит.

– Немножко подчистить ее, и все будет отлично, – говорю я.

– Да, мамаша, хорошенько провести метлой: это будет лучше всякой скатерти!

Она не знает, что ответить, и смотрит на нас с ненавистью.

– У меня только два табурета, а вас-то сколько?

– Около дюжины.

– Дюжина! Господи Иисусе!

– Ничего! Устроимся! Вот здесь есть доска; вот и скамья готова. Верно, Ламюз?

– Ну, ясное дело! – отвечает Ламюз.

– Эта доска мне нужна, – заявляет женщина. – У меня до вас стояли солдаты, они уже пробовали ее взять.

– Да мы ведь не жулики, – сдержанно замечает Ламюз, чтоб не рассердить женщину, от которой зависит все наше благополучие.

– Я о вас не говорю, но, знаете, солдаты портят все. Беда с этой войной!

– Значит, сколько это выйдет, за стол напрокат и за то, чтоб что-нибудь разогреть на плите?

– Двадцать су в день, – нехотя бурчит хозяйка, словно мы у нее вымогаем эту сумму.

– Дороговато! – говорит Ламюз.

– Так платили другие, что стояли до вас. И какие были славные люди: давали нам свои харчи! Я знаю, что для солдат это нетрудно. Если, по-вашему, это дорого, я сейчас же найду

других охотников на эту комнату, на этот стол и печь. Их будет меньше двенадцати. Ко мне все время ходят и заплатят подороже, если мы захотим. Подумайте, двенадцать человек!

– Я сказал: «Дороговато!», но в конце концов ладно! – спешит прибавить Ламюз. – Как, ребята?

Он задал этот вопрос только для проформы. Мы соглашаемся.

– Выпить бы! – говорит Ламюз. – Продаете винцо?

– Нет, – отвечает баба.

И голосом, дрожащим от гнева, прибавляет:

– Вы понимаете, военные власти заставляют нас продавать вино не дороже пятнадцати су! Пятнадцать су! Беда с этой проклятой войной! На ней теряешь деньги! Подумайте: пятнадцать су! Так вот я и не продаю вина. У меня, конечно, есть вино, но только для себя. Конечно, иногда, чтоб услужить, я уступаю его знакомым, людям толковым, но, вы сами понимаете, не по пятнадцати су!

Ламюз принадлежит к людям толковым. Он хватается за флягу, которая всегда висит у него на поясе.

– Дайте мне литр! Сколько будет стоить?

– Двадцать два су, – я продаю по своей цене. И знаете, это только чтоб вам услужить: вы ведь военные.

Барк теряет терпение и что-то ворчит про себя. Баба бросает на него злобный взгляд и делает вид, что хочет вернуть флягу Ламюзу.

Но Ламюз окрылен надеждой наконец выпить; он багровеет, как будто вино уже разлилось по его жилам; он спешит прибавить:

– Не беспокойтесь, мамаша, это останется между нами, мы вас не выдадим!

Она стоит неподвижно и возмущается установленными ценами. И вот, охваченный страстным желанием выпить, Ламюз окончательно сдается и унижается до того, что говорит:

– Ничего не поделаешь, мадам. Известно, народ военный! Что они смыслят!

Хозяйка ведет нас в погреб. Он уставлен тремя бочками внушительных размеров.

– Это и есть ваш запасец?

– Шельма старуха, – ворчит Барк.

Ведьма оборачивается и злобно восклицает:

– А вы бы, небось, хотели, чтоб мы разорились на этой проклятой войне? И так теряем деньги на том, на сем!

– На чем? – настаивает Барк.

– Сразу видно, что вам не приходится рисковать своими деньгами!

– Конечно, мы ведь рискуем только своей шкурой!

Мы вмешиваемся в этот разговор, опасаясь, как бы он не принял дурной оборот.

Вдруг кто-то дергает дверь погреба, и раздается мужской голос:

– Эй, Пальмира!

Хозяйка уходит, ковыляя, предусмотрительно оставив дверь открытой.

– Здорово! Тут славное винцо! – говорит Ламюз.

– Вот гады! – бормочет Барк; он никак не может успокоиться после подобного приема.

– Стыд и срам! – говорит Мартро.

– Можно подумать, что ты это видишь в первый раз!

– А ты тоже хорош, кисляй! – возмущается Барк. – Старуха нас обворовывает, а ты ей сладким голосом говоришь: «Ничего не поделаешь, народ военный!» Совести у тебя нет!

– А что еще сказать? Значит, лучше затянуть пояс потуже? Не было бы ни жратвы, ни выпивки! Если б она потребовала с нас за вино по сорок су, все равно пришлось бы платить. Правда? Так вот, мы еще должны почитать себя счастливыми. Признаюсь, я уж боялся, что она не согласится.

– Известно, везде и всегда одна и та же история, а все-таки…

– Да, нечего сказать, мирные жители ловко обделывают свои делишки! Конечно, кое-кто из них разбогатеет. Не всем же рисковать своей шкурой!

– Эх, славный народ в восточных областях!

– Да и северяне тоже хороши!

– … Они встречают нас с распростертыми объятиями!..

– Скорее, с протянутой рукой…

– Говорят тебе, – повторяет Мартро, – что это стыд и срамота.

– Заткнись! Вот опять эта стерва!

Мы идем известить товарищей о нашей удаче; потом за покупками. Когда мы возвращаемся в новую столовую, там уже хлопочут: готовят завтрак. Барк пошел получать наши доли провизии и благодаря личным связям с главным поваром, хоть и принципиальным противником подобного деления, получил картошку и мясо на пятнадцать человек.

Он купил топленого свиного сала – комок за четырнадцать су: будет жареная картошка. Он еще купил зеленого горошку в консервах: четыре банки. А банка телячьего студня Андрэ Мениля будет нашей закуской.

– Вкусно поедим! – с восхищением говорит Ламюз.

* * *

Мы осматриваем кухню. Барк с довольным видом ходит вокруг чугунной, тяжело дышащей плиты, занимающей целую стену этого помещения.

– Я поставил еще один котелок, – шепчет он мне.

Он приподнимает крышку.

– Огонь не очень-то сильный. Вот уж полчаса как я положил мясо, а вода все чистая.

Через минуту он уже спорит с хозяйкой из-за этого добавочного котелка. Хозяйка кричит, что ей теперь не хватает места на плите; ведь солдаты говорили, что им нужна только одна кастрюля; она и поверила; если бы она знала, что будет столько хлопот, она бы не сдала комнаты. Барк добродушно отшучивается, и ему удается успокоить это чудовище.

Один за другим приходят и остальные. Они подмигивают, потирают руки, предаются сладким мечтаниям, предвкушая пир, словно гости на свадьбе.

Попадая с улицы в эту черную конуру, они слепнут и несколько минут стоят растерянные, как совы.

– Не очень-то светло! – говорит Мениль Жозеф.

– Ну, старина, чего тебе еще надо?

Остальные хором восклицают:

– Здесь прямо великолепно!

Все утвердительно кивают головой.

Происшествие: Фарфадэ неосмотрительно задел плечом влажную, грязную стену; на куртке осталось большое пятно, такое черное, что его видно даже здесь, хотя темно, как в погребе. Опрятный Фарфадэ ворчит и, стараясь больше не прикасаться к стене, натыкается на стол и роняет ложку. Он нагибается и шарит по корявому полу, где годами в тишине оседала пыль и паутина. Наконец ложка найдена; она вся в черной пыли, с нее свисают какие-то нити и волокна. Уронить здесь что-нибудь, – это целая катастрофа. Здесь надо двигаться осторожно.

Ламюз кладет между двумя приборами руку, жирную, как окорок.

– Ну, к столу!

Мы приступаем к еде. Обед обильный и тонкий. Гул разговоров смешивается со звоном опорожниваемых бутылок и чавканьем полных ртов. Мы наслаждаемся вдвойне: ведь мы

едим сидя; сквозь отдушину пробивается свет; он озаряет угол стола, один прибор, козырек, глаз. Я украдкой посматриваю на этот мрачный пир, где веселье бьет через край.

Бике рассказывает, как ему пришлось искать прачку и умолять ее выстирать белье. «Но это вошло мне в копеечку!» Тюлак рассказывает, что перед бакалейной лавкой стоит хвост; войти туда не имеешь права; стоишь, как баран в загоне.

– Стоишь на улице, а если ты недоволен и ворчишь, тебя прогоняют.

Какие еще новости? Новый приказ грозит суровыми карами за мародерство и уже содержит список виновных. Вольпата эвакуировали. Солдат призыва 93-го отправляют в тыл: среди них Пепер.

Барк приносит жареную картошку и сообщает, что у нашей хозяйки за столом едят солдаты: санитары пулеметной роты.

– Они думают, что устроились лучше нас, а на самом деле лучше всех нам, – убежденно говорит Фуйяд, гордо оглядывая гнусную конуру, где так же тесно и темно, как в землянке. (Но кому придет в голову подобное сравнение?)

– Знаете, – говорит Пепен, – ребятам из девятой роты везет! Их держит задаром одна старуха: ее хозяин помер пятьдесят пять лет назад; он был когда-то вольтижером. Говорят даже, что она задаром дала им кролика, и сейчас они едят рагу.

– Хорошие люди есть везде! Но ребятам из девятой роты повезло: они одни в целой деревне попали на постой к хорошим людям!

Пальмира приносит нам кофе. Она к нам привыкает, слушает нас и даже задает угрюмым тоном вопросы:

– Почему вы называете фельдфебеля «кофейный»?

Барк поучительным тоном отвечает:

– Так было всегда.

Она уходит: тогда мы высказываем мнение о кофе:

– Что-то жидковато! Даже сахар на дне виден.

– А баба дерет по десяти су!

– Это фильтрованная вода.

Дверь приоткрывается; обозначается светлая щель; показывается голова мальчика. Его подзывают, словно котенка, и дарят ему кусочек шоколада.

– Меня зовут Шарло, – щебечет ребенок. – Мы живем тут рядом. У нас тоже солдаты. У нас всегда солдаты. Мы им продаем все, что они хотят; только вот иногда они напиваются пьяные.

– Малыш, поди-ка сюда! – говорит Кокон и ставит его между своих колен. – Слушай-ка! Твой папаша, небось, говорит: «Хоть бы война тянулась подольше!» А-а?

– Ну да, – отвечает ребенок, кивая головой, – у нас теперь много-много денег. Папа сказал, что к концу мая мы заработаем пятьдесят тысяч франков.

– Пятьдесят тысяч? Не может быть!

– Правда, правда! – уверяет ребенок. – Он сказал это маме. Папа хочет, чтоб так было всегда. А мама иногда не знает: ведь мой брат Адольф на фронте. Но мы устроим его в тыл, и тогда пусть война продолжается!

Вдруг из комнат наших хозяев доносятся пронзительные крики; они прерывают эти признания. Шустрый Бике идет узнать, в чем дело.

– Это ничего, – возвращаясь, говорит он. – Хозяин разорался на хозяйку за то, что она, мол, порядков не знает: положила горчицу в рюмку, а «так люди не делают».

Мы встаем. В нашем подземелье стоит тяжелый запах табаку, вина и остывшего кофе. Едва мы переступаем порог, нам в лицо веет удушливый жар, отягченный запахом растопленного жира, который вырывается каждый раз, как открывают дверь в кухню.

Мы проходим сквозь полчища мух, они облепили стены и при нашем появлении шумно разлетаются.

– Это как в прошлом году!.. Снаружи мухи, внутри вши…

– А еще глубже внутри – микробы.

В углу этого грязного домишки, заваленного хламом и пропыленными прошлогодними отбросами, обсыпанного пеплом многих угасших солнц, среди мебели и всякой утвари что-то движется: это старик с длинной шеей, облупленной, шершавой, розовой, как у больной облезлой курицы. У него и профиль куриный: подбородка нет, нос длинный; впалые щеки прикрыты грязно-серой бородой, и большие круглые веки поднимаются и опускаются, словно крышки, на выцветших стеклянных глазах.

Барк его уже заметил.

– Погляди: он ищет клад. Он говорит, что где-то в этой конуре зарыт клад. Старик – свекор хозяйки. Он вдруг становится на четвереньки и тычется рылом во все углы. Вот, погляди!

Старик неустанно ворошит отбросы палкой. Он постукивает ею по стенам и кирпичным плиткам пола. Его толкают жильцы этого дома и чужие люди; Пальмира задевает его метлой, не обращая на него внимания, и, наверно, думает про себя, что пользоваться общественным бедствием куда выгодней, чем искать какие-то там шкатулки.

В углублении, у окна, перед старой, засиженной мухами картой России, две кумушки вполголоса поверяют друг другу тайны.

– Да, надо быть осторожной с водкой, – бормочет одна. – Если наливать неловко, не выйдет шестнадцати рюмок на бутылку, и тогда мало заработаешь. Я не говорю, что приходится докладывать из своего кармана; конечно, нет, но меньше зарабатываешь. Чтоб этому помочь, торговцам надо столковаться, но столковаться трудно даже для общей выгоды!

На улице жара, везде рои мух. Еще несколько дней тому назад их было мало, а теперь везде гудят их бесчисленные крошечные моторы. Я выхожу вместе с Ламюзом. Мы решили пройтись. Сегодня нечего делать: полный отдых после ночного перехода. Можно поспать, но гораздо интересней погулять на свободе: ведь завтра опять учение и работы…

Некоторым не повезло: их уже впрягли…

Ламюз предлагает Корвизару пройтись с нами, но Корвизар теребит свой круглый носик, торчащий на узком лице, как пробка, и отвечает:

– Не могу. Я должен убирать дерьмо.

Он показывает на лопату и метлу; согнувшись, задыхаясь от вони, он выполняет обязанности мусорщика и золотаря.

Мы идем вялым шагом. День навис над сонной деревней; в желудках, набитых пищей, тяжело. Мы говорим мало.

Вдруг где-то раздаются крики: на Барка напала целая свора хозяек… На эту сцену робко смотрит бледная девочка; ее косичка – словно из пакли; губы усеяны прыщами от лихорадки. Смотрят и женщины; они сидят у дверей в тени и занимаются жалким рукоделием.

Проходят шесть человек во главе с капралом-каптенармусом. Они несут тюки новых шинелей и связки сапог.

Ламюз рассматривает свои опухшие, огрубелые ноги.

– Н-да. Мне нужны чоботы, а то эти скоро каши запросят… Не ходить же босиком!

Слышится храп самолета. Мы следим за ним; поднимаем головы, вытягиваем шею; глаза слезятся от яркого света. Когда мы опять смотрим на землю, Ламюз объявляет:

– От этих штуковин никогда не будет проку, никогда!

– Что ты! За короткое время мы уже достигли таких успехов!..

– Да, но на этом и остановятся. Лучше не сделают никогда.

На этот раз я не спорю: как всегда, невежество решительно отрицает прогресс; я предоставляю этому толстяку считать, что наука и промышленность вдруг остановились на своих необыкновенных достижениях.

Начав поверять мне свои глубокие мысли, Ламюз подходит ближе, опускает голову и говорит:

– Знаешь, Эдокси здесь.

– Да ну?

– Да. Ты никогда ничего не замечаешь, а я заметил. (Ламюз снисходительно улыбается.) Так вот, знаешь: раз она здесь, значит, кто-то ее интересует. Правда? Она пришла ради кого-то из нас, ясное дело.

Он продолжает:

– Старина, хочешь, я тебе скажу? Она пришла ради меня.

– А ты в этом уверен?

– Да, – глухо отвечает человек-бык. – Прежде всего я ее хочу. А потом она уже два раза попадалась мне на глаза. Понимаешь? Ты скажешь: она убежала; но ведь она робеет, да еще как…

Он стал посреди улицы и смотрит мне прямо в глаза. Его лоснящиеся щеки и нос, все его пухлое лицо выражает важность. Он подносит шаровидный кулак к бурым, тщательно закрученным усам и с нежностью поглаживает их. И опять принимается изливать свою душу:

– Я ее хочу… и, знаешь, я готов на ней жениться. Ее зовут Эдокси Дюмай. Раньше я не думал жениться на ней. Но с тех пор, как я узнал ее фамилию, мне кажется, будто что-то изменилось, и я готов жениться на ней. Эх, черт возьми, славная бабенка! И дело не только в красоте… Эх!..

Толстяк взволнован и старается выразить свои чувства словами.

– Эх, старина! Бывает, что меня надо удерживать крючьями, – мрачно отчеканивает он, и кровь приливает к его жирной шее и щекам. – Она такая красивая, она… А я, я… Она так не похожа на других, ты заметил, я уверен, ты ведь все замечаешь. Правда, она крестьянка, и все-таки в ней есть что-то такое, чего нет у парижанки, даже у самой разряженной, расфуфыренной парижанки, верно? Она… Я… Мне…

Он хмурит рыжие брови. Ему хочется выразить все великолепие своих чувств. Но он не умеет изъясняться и замолкает; он одинок, вечно одинок.

Мы идем дальше вдоль домов. У дверей выстроились телеги с бочками. Окна, выходящие на улицу, расцветились пестрыми банками консервов, пучками трута, всем, что вынужден покупать солдат. Почти все крестьяне занимаются бакалейной торговлей. Местная торговля развивалась медленно, но теперь первый шаг сделан; каждый крестьянин пустился в спекуляцию, он охвачен страстью к цифрам, ослеплен умножением.

Раздается колокольный звон. Открывается шествие. Военные похороны. На передке обозной телеги сидит солдат; он везет гроб, покрытый знаменем. За гробом идет полувзвод солдат, унтер, полковой священник и человек в штатском.

– Эх, куцые похороны! – говорит Ламюз. – Здесь поблизости лазарет. Пустеет, ничего не поделаешь. Умершим хорошо! Позавидуешь! Но только иногда, не всегда…

* * *

Мы прошли мимо последних домов. За деревней, в поле, расположились полковые обозы. Походные кухни и дребезжащие повозки, которые следуют за ними со всякой утварью, фургоны Красного Креста, грузовики, фуражные телеги, одноколка почтальона.

Вокруг всех этих повозок теснятся палатки ездовых и сторожей. Между ними, на голой земле, стоят кони и стеклянными глазами смотрят на клочок неба. Четыре солдата устанавливают стол. Под открытым небом дымит кузница. Этот пестрый людный поселок раскинулся в развороченном поле, где параллельные и дугообразные колеи каменеют на солнце; везде уже валяются отбросы.

На краю лагеря выделяется чистотой и опрятностью белый фургон. Можно подумать, что это роскошный ярмарочный балаган на колесах, где берут дороже, чем в других.

Это знаменитый стоматологический фургон, который искал Блер.

А вот и сам Блер; он его разглядывает. Он, наверно, уже давно вертится здесь и не сводит с него глаз. Дивизионный санитар Самбремез возвращается из деревни и поднимается по откидной раскрашенной лестнице к дверце фургона. Он держит в руках большую коробку бисквитов, булку и бутылку шампанского. Блер его окликает:

– Эй, толстозадый, эта колымага – зубоврачебная?

– Здесь написано, – отвечает Самбремез, дородный коротышка, чистый, выбритый, с тяжелым белым подбородком. – Если не видишь, обратись не к зубному врачу, а к ветеринару, чтоб он протер тебе буркалы.

Блер подходит и разглядывает это учреждение.

– Ишь, штуковина! – говорит он.

Он подходит еще раз, отходит, колеблется, прежде чем доверить свою челюсть врачу. Наконец решается, ставит ногу на ступеньку и исчезает за дверью.

* * *

Мы идем дальше… Сворачиваем на тропинку, где высокие кустарники обсыпаны пылью. Шумы затихают. Солнце парит, жарит и печет дорогу, расстилает ослепительные жгуче-белые полосы и трепещет в безоблачном синем небе.

На первом повороте слышится легкий скрип шагов, и прямо перед нами – Эдокси!

Ламюз испускает глухое восклицание. Может быть, он опять воображает, что она ищет именно его, верит в какую-то милость судьбы. Всей своей громадой он направляется к Эдокси.

Она останавливается среди боярышника и смотрит на Ламюза. Ее до странности худое, бледное лицо выражает тревогу: веки великолепных глаз бьются. Она стоит с непокрытой головой; полотняный корсаж вырезан на груди. Увенчанная золотом, эта женщина вблизи в самом деле обольстительна. Лунная белизна ее кожи привлекает и поражает. Глаза блестят, зубы сверкают между приоткрытых губ, красных, как сердце.

– Скажите!.. Я хочу вам сказать!.. – задыхаясь, говорит Ламюз. – Вы мне так нравитесь!..

Он протягивает руку к желанной женщине.

Она с отвращением отшатывается.

– Оставьте меня в покое! Вы мне противны!

Ламюз хватает своей лапой ручку Эдокси. Эдокси пытается ее вырвать. Яркие волосы распустились и трепещут, как пламя. Ламюз тянется к ней, вытягивает шею. Он хочет поцеловать Эдокси. Он хочет этого всем телом, всем существом. Он готов умереть, лишь бы коснуться ее губами.

Но она отбивается, испускает приглушенный крик; ее шея вздрагивает; прекрасное лицо обезображено злобой.

Я подхожу и кладу руку на плечо Ламюза, но мое вмешательство уже не требуется; Ламюз что-то бормочет и отступает; он побежден.

– Вы с ума сошли! – кричит ему Эдокси.

– Нет! – стонет несчастный Ламюз, ошеломленный, подавленный, обезумевший.

– Чтоб это больше не повторялось, слышите! – кричит она.

Она уходит, вся трепеща; он даже не смотрит ей вслед; он опустил руки, разинул рот и стоит там, где стояла она; он уязвлен в своей плоти, очнулся и уже не смеет молить.

Я веду его с собой. Он плетется молча, сопит, тяжело дышит, словно долго бежал.

Он опускает большую голову. В безжалостном свете вечной весны он напоминает бедного циклопа, который когда-то бродил на древних берегах Сицилии, похожий на чудовищную игрушку, осмеянный и покоренный сияющей девушкой-ребенком…

Проходит бродячий виноторговец, подталкивая тачку, на которой горбом торчит бочка; он продал несколько литров часовым. Лицо у него желтое, плоское, как сыр камамбер; редкие волосы превратились в пыльные волокна; он так худ, что его ноги болтаются в штанах, словно привязанные к туловищу веревками. Он исчезает за поворотом дороги. На краю деревни, под крылом покачивающейся скрипучей дощечки, на которой написано ее название, праздные солдаты в карауле говорят об этом бродячем полишинеле:

– Поганая морда! – восклицает Бигорно. – И знаешь, что я тебе скажу? Столько «шпаков» как ни в чем не бывало болтается на фронте! Не надо их сюда пускать и, особенно, неизвестных молодчиков!

– Ты загибаешь, вошь летучая! – отвечает Корнэ.

– Помалкивай, старая подметка! – настаивает Бигорно. – Напрасно им доверяют. Уж я знаю, что говорю.

– А Пепер отправляется в тыл, – говорит Канар.

– Здешние бабы все – рожи, – бормочет Ла Моллет.

Остальные солдаты глядят по сторонам и наблюдают за поворотами и петлями двух неприятельских аэропланов. От игры лучей эти механические жесткие птицы кажутся то черными, как вороны, то белыми, как чайки; вокруг них в лазури взрывается шрапнель, словно хлопья снега неожиданно посыпались в жаркий день.

* * *

Мы возвращаемся. К нам подходят два солдата. Это Карасюс и Шейсье.

Они сообщают, что повар Пепер отправляется в тыл, по закону Дальбьеза, и зачисляется в ополчение.

– Вот теплое местечко для Блера! – говорит Карасюс, у которого забавный большой нос совсем не соответствует лицу.

По деревне проходят солдаты кучками или парами; их соединяет переплетенными нитями беседа.

Отдельные солдаты подходят друг к другу, расходятся, потом сходятся опять, словно их притягивает друг к другу магнит.

Вдруг бешеная толкотня: в толпе взлетают белые листки. Это газетчик продает по два су газеты, которые стоят одно су. Фуйяд остановился посреди дороги; он худ, как заячья лапка. На солнце сияет розовое, как ветчина, лицо Паради.

К нам подходит Бике; он не в полной форме: в куртке и суконной шапке. Он облизывает губы.

– Я встретил ребят. Мы выпили. Ведь завтра придется опять приниматься за работу и первым делом надо будет почистить свое барахло и винтовку. С одной только шинелью сколько будет возни! Это уже не шинель, а подкладка какой-то брони.

Появляется канцелярист Монтрей; он зовет Бике:

– Эй, стрикулист! Письмо! Я ищу тебя уже целый час! Никогда не усидит на месте. Юла!

– Не могу же я поспеть всюду зараз, толстый мешок! Давай-ка сюда!

Он рассматривает конверт, взвешивает письмо в руке и, распечатывая его, сообщает:

– Это от моей старухи!

Мы замедляем шаг. Бике читает, водит пальцем по строчкам, убежденно покачивает головой и шевелит губами, как молящаяся женщина.

Мы подходим к центру деревни; толпа увеличивается. Мы козыряем майору и черному священнику, который идет рядом с ним, как прогуливающаяся дама. Нас окликают Пижон, Генон, молодой Эскютнэр и егерь Клодор. Ламюз кажется слепым и глухим; он способен только двигаться.

Подходят Бизуарн, Шанрион, Рокет и громко сообщают великую новость:

– Знаешь, Пепер отправляется в тыл!

– Забавно, как они там ничего не знают! – говорит Бике, отрываясь от письма. – Старуха обо мне беспокоится.

Он показывает мне строки материнского послания. «Когда ты получишь мое письмо, – читает он по складам, – ты, наверно, будешь сидеть в грязи и холоде, без еды, без питья, мой бедный Эжен!..»

Он смеется.

– Она написала это десять дней тому назад. Вот уж попала пальцем в небо! Теперь не холодно: сегодня отличная погода. Нам не плохо: у нас своя столовка. Раньше мы бедствовали, а теперь нам хорошо.

Мы возвращаемся в нашу собачью конуру, обдумывая эту фразу. Ее трогательная простота меня волнует; она выражает душу, множество душ. Только показалось солнце, только почувствовали мы луч света и устроились чуть поудобней, и вот ни мучительное прошлое, ни ужасное будущее больше не существуют… «Теперь нам хорошо». Все кончено.

Бике, как барин, садится за стол и собирается писать. Он старательно раскладывает и проверяет бумагу, чернила, перо, улыбается и выводит ровные круглые буквы на маленьком листке.

– Если бы ты знал, что я пишу моей старушке, ты бы посмеялся, – говорит он.

Он с упоением перечитывает письмо и улыбается самому себе.

VI Привычки

Мы царим на птичьем дворе.

Толстая курица, белая, как сметана, высиживает яйца на дне корзины, у конуры, где копошится пес. А черная курица расхаживает взад и вперед. Она порывисто вытягивает и втягивает упругую шею и движется большими жеманными шагами; виден ее профиль с мигающей блесткой зрачка; кажется, что ее кудахтанье производит металлическая пружина. Ее перья переливаются черным блеском, как волосы цыганки; за ней тащится выводок цыплят.

Эти легкие желтые шарики бросаются под ноги матери короткими, быстрыми шажками и поклевывают зерна. Только последние два цыпленка стоят неподвижно и задумчиво, не обращая внимания на механическое кудахтанье матери.

– Плохой признак! – говорит Паради: – Если цыпленок задумался, значит, он болен.

Паради то закидывает ногу на ногу, то расправляет их.

Рядом, на скамье, Блер потягивается, зевает во весь рот и опять принимается глазеть; он больше всех любит наблюдать за птицами: они живут так мало и так спешат наесться.

Да и все мы смотрим на них и на старого, общипанного, вконец истасканного петуха; сквозь облезлый пух виднеется голая, словно резиновая ляжка, темная, как поджаренный кусок мяса. Петух подходит к белой наседке, которая то отворачивается, как будто сухо говорит «нет!» и сердито клохчет, то наблюдает за ним голубыми глазами, похожими на маленькие эмалированные циферблаты.

– Хорошо здесь! – говорит Барк.

– Гляди, вот утята! – отвечает Блер, – они забавные, чудные!

Проходит вереница крошечных утят; это еще почти яйца на лапках; большая голова торчит на шейке, как на веревочке, и быстро-быстро тянет за собой тщедушное тельце.

Из своего угла толстая собака тоже смотрит на них глубокими честными черными глазами, в которых под косым лучом солнца светится прекрасный рыжий блик.

За этим двором, через выемку в низкой стене, виден плодовый сад; зеленая густая влажная трава покрывает жирную землю; дальше высится стена из зелени, украшенная цветами, белыми, как статуи, или пестрыми, как банты. Еще дальше – луг, где вытянулись зелено-черные и зелено-золотистые тени тополей. Еще дальше – грядка торчком вставшего хмеля и грядка сидящих в ряд кочанов капусты. На солнце, в воздухе и на земле, с музыкальным жужжанием трудятся пчелы, как об этом говорится в стихах, а кузнечик, вопреки басням, поет без всякой скромности и один заполняет своим стрекотанием все пространство.

С вершины тополя вихрем слетает полубелая, получерная сорока, похожая на обгорелый клочок газеты.

Солдаты сидят на каменной скамье и, прищурив глаза, с наслаждением потягиваются и греются на солнце, которое в этом широком дворе накаляет воздух, как в бане.

– Мы здесь уже семнадцать дней! А мы-то думали, что нас вот-вот отсюда отправят!

– Никогда нельзя знать! – говорит Паради, покачивая головой, и щелкает языком.

В открытые ворота виднеется кучка солдат; они разгуливают, задрав нос, и наслаждаются солнцем, а дальше в одиночку ходит Теллюрюр. Он выступает посреди улицы; колыхая пышным животом, ковыляя на кривых ногах, похожих на ручки корзины, он обильно заплевывает землю.

– А мы еще думали, что здесь будет плохо, как на других стоянках. Но на этот раз настоящий отдых: и погода соответственная, и вообще хорошо.

– И занятий и работ не так уж много.

– Иногда приходишь сюда отдохнуть.

Старичок, сидящий на краю скамьи (это не кто иной, как дедушка, искавший клад в день нашего приезда), подвигается к нам и поднимает палец.

– Когда я был молодым, женщины на меня заглядывались, – утверждает он, покачивая головой. – Ну и перебывало же у меня бабенок!

– А-а! – рассеянно говорим мы: от этой старческой болтовни наше внимание кстати отвлек грохот нагруженной, тяжело подвигающейся телеги.

– А теперь, – продолжает старик, – я думаю только о деньгах.

– Ах да, вы ведь ищете клад, папаша.

– Конечно, – говорит старик.

Он чувствует наше недоверие.

Он ударяет себя по черепу указательным пальцем и показывает на дом.

– Глядите, – говорит он, показывая на какое-то насекомое, ползущее по стене. – Что этот зверь говорит? Он говорит: «Я – паук, я тку нитки богородицы».

И древний старик прибавляет:

– Никогда не надо судить о том, что люди делают, потому что нельзя знать, что случится.

– Правда, – вежливо отвечает Паради.

– Чудак, – сквозь зубы говорит Мениль Андрэ, доставая из кармана зеркальце, чтобы полюбоваться своим лицом, похорошевшим на солнце.

– У него не все дома, – блаженно бормочет Барк.

– Ну, я пошел, – с тревогой говорит старик: он не может усидеть на месте.

Он идет опять искать клад. Он входит в дом, к стене которого мы прислонились; он оставляет дверь открытой, и в комнате, у огромного очага, мы видим девочку; она играет в куклы так серьезно, что Барк задумчиво говорит:

– Она права.

Для детей игры – важные занятия. Играют только взрослые.

Мы глазеем на животных, на людей, на что попало. Мы наблюдаем жизнь вещей, окрашенную климатом и временами года. Мы привязались к этому уголку страны, где случайно задержались, среди своих постоянных блужданий, дольше, чем в других местах, и становимся чувствительней ко всем его особенностям. Сентябрь, это похмелье августа и канун октября, этот трогательнейший месяц сочетает хорошие дни с кой-какими смутными предвещаниями. Мы уже понимаем значение этих сухих листьев, перелетающих с камня на камень, как стая воробьев.

Действительно, эти места и мы привыкли друг к другу. Нас столько раз пересаживали с одной почвы на другую, и вот мы пустили корни здесь и больше не думаем об отъезде, даже когда говорим о нем.

– Одиннадцатая дивизия отдыхала целых полтора месяца, – говорит Блер.

– А 375-й полк? Девять недель! – убежденно подхватывает Барк.

– Мы останемся здесь по крайней мере столько же; я говорю: по крайней мере.

– Мы здесь и закончим войну…

Барк умиляется и готов в это поверить:

– Кончится ж она когда-нибудь!

– Когда-нибудь! – повторяют другие.

– Все может быть, – говорит Паради.

Он говорит это слабым голосом, не очень убежденно. А между тем против этого нечего возразить. Мы тихо повторяем его слова, баюкаем себя ими, как старой песенкой.

* * *

Через несколько минут к нам подходит Фарфадэ. Он садится на опрокинутую кадку, подпирает подбородок кулаками, но держится в сторонке.

Его счастье прочней нашего. Мы это хорошо знаем; он – тоже; он поднимает голову, смотрит отчужденным взглядом на спину старика, который уходит искать клад, и на нас, когда мы говорим, что останемся здесь. Наш хрупкий, чувствительный товарищ окружен ореолом себялюбивой славы, он кажется особым существом, отъединенным от нас, словно ему с неба свалились нашивки.

Его идиллия с Эдокси продолжается и здесь. У нас есть доказательства, и однажды он даже сказал об этом сам.

Эдокси живет недалеко от него… На днях вечером я видел, она шла мимо дома священника; пламя ее волос было притушено косынкой; она, наверно, шла на свидание: она спешила и заранее улыбалась… Хотя Эдокси и Фарфадэ, может быть, еще только дали друг другу клятвы, она уже принадлежит ему, и он будет держать ее в объятиях.

Скоро он нас покинет: его отзовут в тыл, в штаб бригады, где нужен хилый человек, умеющий печатать на машинке. Это уже официально известно, написано. Он спасен: мрачное, невидимое для других будущее для него открыто и ясно.

Он смотрит на окно, за которым чернеет комната; эта темнота ослепляет Фарфадэ; он надеется; у него двойная жизнь. Он счастлив: ведь еще не наступившее, но уже близкое счастье – единственное истинное счастье в этом мире.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.